З. ГИППІУСЪ.

ЧОРТОВА КУКЛА



„Московское Книгоиздательство"

З. ГИППІУСЪ.

ЧОРТОВА КУКЛА.

ЖИЗНЕОПИСАНІЕ ВЪ 33-ХЪ ГЛАВАХЪ.

„МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО".



МОСКВА.
Т-во Типо-Литографіи И. М. Машистова, Б. Садовая, соб. домъ.
1911.

Читателямъ.

Книга должна говорить сама за себя. Если не говоритъ—какое поможетъ предисловіе? И я не предисловіе пишу, но скорѣе послѣсловіе, обращаюсь къ тѣмъ изъ моихъ далекихъ читателей, которые читаютъ романъ, думая, что это „романъ о революціи“. И спрашиваютъ: можно ли говорить намеками, говорить о настоящемъ и предчувственномъ, едва касаясь прошлаго,—отодвигать главную тему на второй планъ? Нѣтъ, конечно, нельзя... если романъ—дѣйствительно „романъ о революціи“. Но такъ ли это?

Вина ложится на автора, на несовершенство книги, когда читающимъ ее кажется, что она о томъ написана, о чемъ не написана. Потому-то и нужны мнѣ эти объяснительныя слова.

Моя книга — вовсе не книга о революціи, но — о реакціи. Обнажить вѣчные, глубокіе корни реакціи,—вѣчные, хотя эта реакціонность, косность, проявляясь во времени, надѣваетъ на себя соотвѣтственныя времени одежды,—такова

была моя задача, на нее направлено было все мое вниманіе. И хотѣлось мнѣ собрать, сосредоточить черты душевной мертвости, вѣчно тянущей внизъ,—въ одномъ человѣкѣ, сдѣлавъ его сознательнымъ, т.-е. утверждающимъ и оправдывающимъ (насколько это возможно) свое міросозерцаніе. Силы противоположныя, живыя, взяты лишь какъ необходимый фонъ для героя; современный герой „небытія" долженъ соприкасаться съ современнымъ же „бытіемъ".

Отдѣльныя черты этой вѣчной, страшной косности есть почти во всякомъ изъ насъ, теперешнихъ; таятся порою глубоко, подъ сознаніемъ; но и оттуда, изъ глубинъ, поднимается отравленный воздухъ. Не будь въ насъ этой заразы, не было бы и вокругъ насъ того, что есть.

„Во что я вѣрю?"—смѣется чуть не каждое письмо изъ тысячи, полученныхъ въ отвѣтъ на попытку произвести идейную и религіозную анкету среди нашихъ современниковъ. „Во что я вѣрю? Вѣрю въ розовенькія щечки, въ дѣвичью грудь, въ молодость и жизнь, пока живется... Мысль о смерти—это болѣзнь, хотя и разныя бываютъ настроенія. А милымъ фантазерамъ - идеалистамъ . я просто пожалъ бы руку и попилъ бы съ ними чайку, при случаѣ"...

Конечно, не герой мой писалъ эти слова; но не безъ него, однако, они написаны.

Сводка отдѣльныхъ душевныхъ чертъ къ единой личности—быть можетъ, искусственна; герой небытія, возможно, не удался мнѣ; но это уже вопросъ иной, и не мнѣ его касаться. Хочу прибавить только, что, по моему глубокому убѣжденію, сила косности, себя утверждающая и крѣпкая,—достойна вниманія, изслѣдованія и серьезной борьбы съ нею—въ мѣру умѣнья каждаго. Сила эта тѣмъ страшнѣе, что она вездѣсуща и непримѣтна, обволакивающа и соблазнительна.

А чтобы писать „о революціи"—нужны особыя, иныя, знанія, на которыя я не притязаю; я могу и хочу подходить къ данному революціи лишь „отъ противнаго". Таковъ будетъ и второй мой романъ (непосредственно связанный съ „Чортовой куклой")—„Очарованія истины", гдѣ герой небытія, одѣтый въ другія, гораздо болѣе соблазнительныя одежды, столкнется въ дѣлахъ своихъ съ тѣмъ зерномъ подлиннаго и совершеннаго бытія, которое уже возрастаетъ нынѣ изъ стихіи революціи.

З. Гиппіусъ.

Апрѣль—1911.

ЧОРТОВА КУКЛА.

ПЕРВАЯ.

Юруля.

Они чуть не столкнулись—оба шли такъ быстро.

Подняли другъ на друга глаза. Дѣвушка, одѣтая скромно, даже бѣдно, первая заговорила:

— Здравствуйте. Вы ли?

— Наташа! Я бы и не узналъ. Ну, да вѣдь такъ давно не видались.

— Давно... правда... Вы—точно вчера это было. Точно вамъ семнадцать лѣтъ.

— Тѣмъ лучше. А мнѣ вѣдь ужъ за двадцать. Вы здѣсь живете, въ Парижѣ?

Наташа послѣ перваго движенія какъ будто раскаялась, что окликнула его. Сказала неопредѣленно:

— Да... Вотъ и встрѣтились... Можетъ еще встрѣтимся, Двоекуровъ. А теперь я...

— Хотите проститься? Какъ хотите. Я не сталъ бы искать васъ, Наташа, говорю по правдѣ. Но ужъ встрѣтились, такъ поболтаемъ. Я забылъ и васъ, и Михаила, и другихъ, и себя немножко, какой я былъ тогда съ вами. Просто забылъ, не думалъ, о своемъ сегодняшнемъ думалъ. А вотъ случайность—встрѣтилъ васъ, и съ удовольствіемъ вспоминаю. Зачѣмъ же отталкивать пріятную случайность?

Онъ говорилъ и улыбался. Изумительная улыбка: сіяющая и умная.

Наташа тоже улыбнулась невольно.

— Я уѣзжаю опять въ Россію,—продолжалъ онъ.—Теперь ужъ надолго, вѣрно. Пожалуй, больше и не увидимся.

— Въ Россію?—задумчиво сказала Наташа.

Они медленно шли вмѣстѣ по широкому тротуару. Малонарядная и молодая толпа большого бульвара, близкаго къ Сорбоннѣ, такая живая въ этотъ часъ, толкала ихъ. Зимнія, блѣдныя парижскія сумерки свисали съ неба.

— Такъ что же, Наташа? Простимся?

Она еще помолчала.

— Нѣтъ, все равно. Пойдемте, посидимъ. Вотъ хоть въ Люксембургѣ.

И двинулись впередъ, черезъ улицу, къ рѣшеткѣ сада. Холодный, зелено-алый ранній закатъ надъ сѣрыми тѣнями деревьевъ. Холодный стукъ голыхъ вѣтокъ,—стукъ костяшекъ. Точно поздняя ночь мая подъ Петербургомъ.

— Разскажите о себѣ,—сказала Наташа, вздрагивая отъ холода.

Они сѣли на скамейку недалеко отъ бассейна.

— Да я все тотъ же. Здѣсь занимался химіей...

— Химіей?—удивилась она.

— Да, да... А вы, вѣрно, вспомнили, что я прежде въ Германіи изучалъ философію? Химія удобнѣе, какъ я разсудилъ. Что до философіи—довольно мнѣ и своей. Ну, да это скучный разговоръ. Химія, такъ химія—не все ли вамъ равно? Ужъ я знаю, что для меня лучше.

— И ѣдете въ Россію?

— Да. Надо съ петербургскимъ университетомъ развязаться. И хочется пожить въ Петербургѣ. Вы здѣсь одна, Наташа? А Михаилъ? А... Кто тамъ еще? Гдѣ они?

Наташа помолчала.

— Не знаю...—промолвила она неопредѣленно.

— Не хотите говорить? Ну, не надо. Я вѣдь не любопытенъ. Для меня и они, и вы, Наташа—прошлое. Милое, пріятное, живое прошлое, оттого я и хотѣлъ вспомнить его. Но смотрю на васъ и думаю, не уйти ли. Лицо у васъ грустное, непріятное.

— Подождите. Это я по привычкѣ бояться всѣхъ такъ говорю съ вами, Юруля. А васъ нечего бояться, вы—счастливый.

— Я счастливый,—сказалъ онъ просто.

— И вы не лжете.

— Нѣтъ, непремѣнно лгу, когда нужно. Непремѣнно. Но только когда нужно.

Наташа встала.

— Милый Юруля, сейчасъ никакой радости вамъ разговоръ со мной не дастъ. Лучше простимся. Только вотъ что: вы ѣдете въ Петербургъ? Отыщите тамъ брата. Я завтра утромъ вамъ для него маленькій пакетъ пришлю. Хорошо? Гдѣ вы живете?

Юруля тоже всталъ. Онъ былъ тонкій, крѣпкій, высокій, какъ молодая елка.

— Я живу недалеко, Наташа, но пакета вы мнѣ, пожалуй, и не присылайте. Не буду искать Михаила. Онъ мнѣ не нуженъ. Не огорчайтесь, милая, мнѣ будетъ больно. Я говорю точно, какъ думаю, какъ чувствую. Если я нуженъ Михаилу—онъ меня разыщетъ, и я бѣгать отъ него не стану. Поймите, что мнѣ сейчасъ за радость искать Михаила, что мнѣ передавать, везти этотъ пакетъ? Это дѣло чужое, а чужія дѣла я забываю, плохо исполняю. Не сердитесь, милая.

Наташа засмѣялась. Опять сѣла. Вдругъ вспомнила его,—такого, какимъ знала когда-то, не вполнѣ похожаго на другихъ людей, ее окружавшихъ. Вспомнила, что ей всегда ве-

село было, любопытно, смотрѣть на него, слушать, что онъ говоритъ. Любили его многіе, неизвѣстно за что; но Наташа не столько любила, сколько приглядывалась. Потомъ забылось. Ужъ очень много съ тѣхъ поръ пережито.

— Вы смѣетесь? Не сердитесь?

— Нѣтъ, нѣтъ. Ну, какая я глупая. Я съ вами встрѣтилась, точно не съ вами. Не надо никакого пакета. Я къ веснѣ тоже пріѣду въ Петербургъ. Захочется мнѣ или Михаилу—найдемъ васъ.

— Вотъ это отлично! Вотъ теперь легко съ вами стало... Нѣтъ, впрочемъ, не такъ, какъ прежде. У васъ лицо измученное. Ахъ, Наташа! Зачѣмъ? Я вѣдь знаю и васъ, и Михаила.

— Что знаете?

Юрій молчалъ. Ему не хотѣлось говорить. Стало скучно. Разсказывать онъ любилъ, разсуждать избѣгалъ. Черезъ двѣ минуты послѣ встрѣчи съ Наташей онъ, припомнивъ ее и ея брата, уже представилъ себѣ съ ясностью, какіе они должны быть теперь, если учесть все съ тѣхъ поръ. Стоитъ ли говорить?

— Михаилъ прежній,—сказала Наташа.

— Ну, да, да. Можетъ, и не прежній, а живетъ попрежнему, изъ долга. Плѣнникъ.

— Что же дѣлать? Какъ жить?—тихо сказала Наташа.

— Ахъ, не знаю... Я другимъ не совѣтчикъ. Просто живите, вѣръ никакихъ не ищите. Вы—скептикъ, Наташа, но темный скептикъ, а не свѣтлый. Вы никогда ни во что не вѣрили, но злились за это на себя. Бѣдная вы, бѣдная!

Онъ съ нѣжной жалостью глядѣлъ на нее.

— Прощайте, милая. Ну, ничего, вы все-таки по-своему гармоничная, ничего.

Онъ уже спѣшилъ уйти. Уже не хотѣлось и вспоминать. Какая она невеселая... И наростала досада, было непріятно.

— Вотъ вы меня жалѣете,—сказала Наташа,—а я вамъ часто завидовала. Михаилъ—тотъ нѣтъ. А Кнорръ бранилъ и завидовалъ.

— Что жъ?—сказалъ Двоекуровъ.—Я счастливый, потому что такъ хочу, такъ самъ выбралъ. Будь у нихъ немножко больше соображенія и заботы...

— О себѣ?—подсказала Наташа.

— О комъ же?

Наташа смотрѣла на него задумчиво. Не уходила. Кажется, не думала о томъ, что онъ говорилъ. У нея яркіе глаза, яркіе и свѣтлые, точно пустые.

— Хесю помните, Юруля?—сказала она вдругъ.

Онъ сдвинулъ брови. Сіяющая красота его вдругъ потемнѣла.

— Какая у васъ жадность вспоминать непріятное! Я съ досадой вспоминаю Хесю! Я совсѣмъ не хотѣлъ ея любви. Нисколько она мнѣ не нравилась. А впрочемъ до васъ это не касается. Нѣтъ, Наташа, я каюсь, что началъ разговоръ съ вами. Вы не умѣете вспоминать, не умѣете радоваться, не умѣете жить. Мнѣ съ вами скучно и досадно.

Онъ повернулся было, чтобъ уйти, но остановился и ласково положилъ ей руку на плечо.

— Не будемъ ссориться, я не хочу. Вы всѣ для меня— милое, хорошее прошлое, кусокъ жизни. Какъ я радъ, что тогда столкнулся съ вами! Помните, какое было время? И какіе всѣ тогда были живые, молодые, веселые...

— Вѣрующіе...—тихо сказала Наташа.

— Пустое! Моя вѣра и тогда была та же, что и теперь, а я былъ съ вами. И развѣ я что-нибудь скрывалъ отъ васъ? Говорилъ громкія слова, поддерживалъ ваши идеи? Развѣ обманывалъ васъ даже тогда, когда мы вмѣстѣ въ Москвѣ сидѣли, когда ни за одинъ день отвѣчать нельзя было, когда я ваши порученія исполнялъ, а вы, случалось,

мои? Развѣ я старался увѣрить васъ, что я вашъ, что по гробъ жизни буду заниматься революціей, что думаю, какъ вы...

— Тогда было не до разсужденій...

— Да, а я все-таки уловилъ минуту и сказалъ вамъ и Михаилу правду. Сказалъ, что я не вашъ, а свой. Дѣлаю ваше дѣло потому, что мнѣ оно сейчасъ пріятно, увлекательно, нравится,—и должно оно нравиться молодости. Безъ этого, если бъ я тогда со стороны глядѣлъ, а не жилъ,—молодость была бы не полна, ну, и жизнь, значитъ, не полна. Вы это помните все.

— Помню, помню,—сказала Наташа грустно.—Что жъ, вы правы. Но и Хеся не виновата, если ничему этому не повѣрила, полюбила васъ по-своему.

Двоекуровъ нетерпѣливо пожалъ плечами. Хотѣлъ было сказать, что да, не виновата и что все это не важно. Не сказалъ именно отъ ощущенія неважности и скучной досады.

— Сейчасъ запрутъ рѣшетку, пора, простите,—спохватилась Наташа.—Я ухожу. И... все равно,—прибавила она рѣшительно,—я рада, что встрѣтила васъ; будьте какимъ вы есть, если нельзя иначе. Будьте счастливы.

— Буду, буду!

Онъ, улыбаясь, крѣпко пожалъ ей руку и долго смотрѣлъ вслѣдъ.

Она пошла отъ него, сѣрая въ сѣрыхъ сумеркахъ. И вся стройная, благородная, несмотря на скромную одежду, точно переодѣтая принцесса.

Юрій вышелъ на бульваръ, гдѣ теперь горѣли огни и толпа переливалась синимъ и желтымъ.

„Наташа скорѣе бы понравилась мнѣ, чѣмъ Хеся,—думалъ Двоекуровъ.—Въ ней своя гармонія... или дисгармо-

нія какая-то. Это привлекательно. Да вотъ въ голову отчего-то не пришло"...

— Oh, le joli garçon!—крикнула ему, не останавливаясь, веселая „кофейная дѣвочка" и блеснула глазами.

Юруля привычно улыбнулся ей, но прошелъ мимо, впередъ, все еще думая о Наташѣ, переставая думать о ней понемногу.

ВТОРАЯ.

По-студенчески.

У стараго сенатора Николая Юрьевича Двоекурова—опустившееся, бритое лицо, безсильно злые глаза и подагра. Подагра серьезная, онъ все время почти не вставалъ съ креселъ, давно уже не выѣзжалъ.

Его забыли. Онъ это понималъ. Отъ злобы и отъ скуки онъ все что-то писалъ у себя, не то мемуары, не то какія-то записки, и не хотѣлъ даже завести секретаря.

Онъ былъ скупъ и бѣденъ, золъ и одинокъ. Къ нему, на его половину, случалось, никто не заходилъ цѣлый день, кромѣ дочери Литты.

Эта „половина", отведенная ему графиней-тещей, была особенно мрачна и некрасива, несмотря на молчаливую торжественность высокихъ потолковъ и темной, старой, тяжкой мебели.

Шестнадцатилѣтняя Литта жила при графинѣ-бабушкѣ. Старуха завладѣла дѣвочкой сразу, какъ только умерла ея дочь. Не прощала внучкѣ, что она—Двоекурова, но вѣдь все-таки это дочь ея несчастной дочери. Пусть по крайней мѣрѣ дѣвочка получитъ надлежащее воспитаніе.

Къ зятю, Николаю Юрьевичу, закаменѣвшая старуха питала спокойное и даже мало объяснимое отвращеніе. Не видались они по мѣсяцамъ.

Но удивительно: Юрія, сына Николая Юрьевича отъ перваго брака, старая графиня, съ годами, все больше и больше миловала. Оттого ли, что мать его, какъ она знала, тоже была, хоть и бѣдная, но „хорошо рожденная“ (удается же этакимъ „Двоекуровымъ!“), оттого ли, что самъ онъ ей весь нравился,—она благосклонно говорила съ нимъ и даже вѣрила ему.

— Décidement, ma petite, c'est un garçon très bien élevé,—говорила она послѣ каждой аудіенціи и трясла головой. Нравился Юрій.

Литта краснѣла отъ удовольствія. Еще бы не нравился! Кому это онъ можетъ не нравиться!

Случилось, что ни отцу, ни тѣмъ менѣе графинѣ, не пришло въ голову, ни разу, ограничить въ чемъ-нибудь свободу Юрія. Онъ взялъ ее самъ, просто, какъ неотъемлемую собственность. Мало того: съ семнадцати лѣтъ никому даже и не разсказывалъ, что дѣлаетъ, куда уходитъ, куда уѣзжаетъ. Денегъ никогда не просилъ, что графиня цѣнила, а отецъ принималъ какъ должное, не заботясь, хватаетъ ли ему положенныхъ ста рублей.

Впрочемъ, на первую поѣздку за границу, въ Германію, и на вторую—въ Парижъ, отецъ далъ какіе-то лишніе гроши, и графиня прибавила безъ просьбы.

Въ концѣ зимы Юрій вернулся изъ Парижа, и тотчасъ же объявилъ дома, что взялъ себѣ для занятій комнату на Васильевскомъ Островѣ. Онъ не переѣзжаетъ, — только не всегда будетъ дома ночевать, вотъ и все.

Отецъ ничего не сказалъ, графиня приняла просто, Литта огорчилась, но втайнѣ. И такъ оно и пошло.

— У тебя отличная комната, настоящая студенческая,— говорилъ Левковичъ грустно.—Только вотъ никогда тебя не застанешь. И дома у тебя бывалъ—нѣту. Сюда третій разъ прихожу, разузналъ адресъ.

— А тебѣ нужно что-нибудь?

— Да нѣтъ, я такъ. Вѣдь подумай, съ тѣхъ поръ, какъ ты вернулся, всего второй разъ тебя вижу.

Комната, можетъ быть, и отличная, но тѣсноватая. Въ углу длинный столъ занятъ какими-то банками и склянками. Юрій въ тужуркѣ лежитъ на клеенчатомъ диванѣ и куритъ тонкую папироску. Левковичъ снялъ шашку, но все-таки неловко тѣснится на стулѣ, поджимая ноги.

— Химія?—спрашиваетъ онъ, косясь на склянки.

— Да... Ну, здѣсь это такъ. Здѣсь развѣ серьезно можно заниматься.

Левковичъ—троюродный братъ Юрія. Ему подъ тридцать. Онъ ни дуренъ, ни красивъ. Если Юруля смахиваетъ на узкую flûte для шампанскаго, то Левковичъ, рядомъ съ нимъ, похожъ не на стаканъ, а на большую обыкновенную рюмку изъ толстаго стекла съ коротковатой ножкой.

Въ лицѣ что-то ребячески простое, незамысловатое. Не глупое, а именно простое. Такіе люди умѣютъ честно и сильно влюбляться.

Левковичъ—офицеръ. Но будь онъ лавочникомъ, почтальономъ, чиновникомъ—это измѣнило бы его языкъ, его привычки, и отнюдь не его самого.

Они всегда встрѣчались рѣдко, но Левковичъ обожалъ Юрулю. Вѣрилъ ему, совѣтовался съ нимъ. У Юрули—заботливая и снисходительная нѣжность. Говорилъ онъ съ Левковичемъ мало, но всегда терпѣливо слушалъ и точно оберегалъ.

— Я все занятъ, Саша,—сказалъ онъ кротко.—Ты бы написалъ мнѣ строчку домой, условились бы.

— А къ намъ ужъ ты не придешь?—грустно проговорилъ Левковичъ.

И, не дожидаясь отвѣта, вдругъ заспѣшилъ:

— Ты отчего перемѣнился ко мнѣ? Ну, не перемѣнился,

а что-то есть. Я рѣшилъ спросить тебя... Такъ нельзя.

— Что же спросить?

— Да вотъ... Я не знаю. Когда, послѣ твоего пріѣзда, мы увидѣлись и я сказалъ тебѣ, что женился, ты обрадовался. А узналъ, что на Мурѣ, и вдругъ говоришь: „напрасно!“ Съ тѣхъ поръ и не зашелъ ко мнѣ. А я такъ счастливъ, такъ счастливъ. Что это значило, твое восклицаніе?

— Если ты счастливъ, Саша, больше ничего и не нужно. Я ошибся. Но, зная тебя и зная немножко твою жену, мнѣ казалось, что напрасно вы женились, жаль, что ты полюбилъ ее.

— Отчего жаль? Нѣтъ, ты скажи. Отчего она о тебѣ, напротивъ, такъ хорошо отзывается, такъ хорошо...

— Да и я не плохо. Зналъ ее мало, давно. Просто мнѣ казалось, что у васъ характеры разные. Саша, я только и хочу, чтобъ ты былъ счастливъ. Тебѣ не много нужно, но ты, глупый, никогда не знаешь, гдѣ тебѣ лучше, гдѣ хуже. Мнѣ досадно смотрѣть иногда, ну, вотъ я о тебѣ и забочусь.

Левковичъ улыбнулся весело.

— А я самъ свое счастье нашелъ. Любовь, братъ, она ведетъ. Тебѣ все-таки за ласку твою спасибо. Зайди къ намъ, будь милый. Увидишь, какъ намъ хорошо.

— Зайду.

— Она удивительная, Мура моя. Скажу тебѣ по секрету, я даже не ожидалъ. Такъ любитъ и... ну, такой темпераментъ, что даже меня испугало. Дѣвочка, видъ пятнадцатилѣтней, твоя сестра Литта кажется старше, и вдругъ... откуда что взялось. Любовь чудеса творитъ.

Юрій затянулся папиросной.

— Отлично... Зайду,—сказалъ онъ, точно желая прервать изліянія молодожена.—Я очень радъ.

— Она черезъ двѣ недѣли къ теткѣ въ деревню пого-

стить уѣдетъ, такъ ужъ ты не откладывай, Юруля. Ну, спасибо тебѣ. А меня это мучило. Еще бы я съ тобой поговорилъ, да тебѣ, вѣрно, некогда.

— Некогда,—согласился Юруля.—Саша, если я тебѣ понадоблюсь, ты лучше домой навѣдывайся, я тамъ чаще бываю.

Левковичъ всталъ и торопливо началъ прицѣплять шапку.

— Ты такой красивый, Юра, что будь это не ты, я бы тебя побоялся звать къ намъ,—сказалъ онъ шутливо.— Ревновалъ бы тебя.

Юрій усмѣхнулся.

— Не бойся. И за сто Мурочекъ я не захочу тебя огорчить. А жаль, что ты ревнивый. Такое это, должно быть, непріятное чувство. Варварское. Какъ всѣ страсти.

— И любовь, значитъ? Ха-ха-ха!

— Чего жъ ты смѣешься, глупое дитя?—нѣжно сказалъ Юрій.—Конечно, и любовь, если всѣ страсти. Да иди, не разсуждай, тебя не передѣлаешь.

— Страсть—это жизнь,—важно произнесъ Левковичъ уже на порогѣ.—Что же ты, безстрастіе, безжизненность проповѣдуешь?

— Ровно я ничего не проповѣдую. Очень мнѣ нужно! А правду какъ не сказать? Зато и христіанство уважаю, что оно боролось противъ страстей. Большая въ этомъ культурная сила. А если перехватываетъ оно...

Левковичъ слушалъ, мало понимая. Юрій торопливо перебилъ себя:

— Такъ прощай. Я зайду, милый.

Когда онъ ушелъ, Юрій взглянулъ на часы, потомъ въ окно. Небо холодное, высокое, свѣтлое. Апрѣль стоялъ сухой и вѣтреный. Заря уже не умирала.

— Дрянь дѣвчонка,—сказалъ вслухъ Юрій, собираясь выйти, ища въ столѣ какіе-то ключи.

„Да, настоящая дрянь. И притомъ дура. Досадно, жаль Сашу. И куда она свою Леонтинку дѣвала? Ужъ не къ ней ли гостить собирается?“

Впрочемъ, ни Мура, ни бывшая ея гувернантка Леонтинка, которую такъ прекрасно зналъ Юрій, не возбуждали въ немъ никакихъ дурныхъ чувствъ. „Дрянь“—это съ точки зрѣнія Левковича, а вотъ дура—досадно, потому что Юрій предвидѣлъ послѣдствія этой глупости—Сашину бѣду.

„Конечно, и онъ глупъ,—думалъ Юруля.—Но его не передѣлаешь, а мнѣ его будетъ жаль. Ну да шутъ съ ними пока, со всѣми“.

Онъ, какъ былъ, безъ пальто, въ одной тужуркѣ, сбѣжалъ съ лѣстницы и вышелъ на пустынную улицу.

Черезъ минуту онъ уже катился на велосипедѣ, упруго вздрагивая на неровной мостовой. Поблескивали шины. Пыльный вѣтеръ овѣвалъ лицо.

Юрію предстоялъ очень долгій путь черезъ весь Петербургъ. Но весело чувствовать себя сильнымъ и веселымъ. Веселымъ, свободнымъ, крѣпко связаннымъ въ одинъ узелъ. Пути открыты, вотъ какъ эта пустая, широкая линія Острова передъ нимъ. И стальной руль легко-послушенъ ему, какъ его тѣло, его жизнь—послушны его мысли, волѣ, желанію, капризу, удовольствію, забавѣ.

О, какъ вчужѣ досадно иногда, что люди еще такіе глупые, еще такіе несчастные!

Ну да пусть ихъ. Научатся жить когда-нибудь.

ТРЕТЬЯ.

Шикарные цвѣты.

На Преображенской улицѣ Юрій соскочилъ съ сѣдла у подъѣзда одного изъ новыхъ домовъ.

Въ швейцарской, какъ всегда, пусто. Юрій прислонилъ къ лѣстницѣ велосипедъ, поднялся въ третій этажъ и безшумно отворилъ большую черную дверь своимъ ключомъ.

Въ передней прислушался. Тихо. Онъ, впрочемъ, такъ и зналъ, что никого нѣтъ дома.

Передняя была большая, съ претензіей на роскошь. Женское кружевное пальто висло лентами чуть не до полу. Сдавленный воздухъ едва-едва пахъ хорошими духами и хорошей сигарой.

Не снимая фуражки, Юруля отодвинулъ темную портьеру, ловко закрывавшую маленькую дверь направо, вошелъ, и дверь за нимъ закрылась.

Въ пустой квартирѣ все также было тихо. На столѣ въ гостиной, убранной съ тѣмъ безнадежнымъ безвкусіемъ, которое даетъ поспѣшность роскоши, стоялъ свѣжій букетъ розъ съ длинными стеблями. Такой же дорогой, вѣроятно, какъ его тяжелая, некрасивая ваза.

Черезъ десять минутъ Юруля, переодѣвшись, неслышно вошелъ въ гостиную, вынулъ букетъ, отставилъ вазу. Съ большой ловкостью завернулъ онъ цвѣты въ бѣлый листъ бумаги, закололъ булавками,—совсѣмъ какъ въ магазинѣ!

И потихоньку вышелъ; но не прежней дорогой, а черезъ коридоръ и кухню, убѣдившись предварительно, что и она пустая.

Отъ черной лѣстницы у него тоже былъ ключъ.

ЧЕТВЕРТАЯ.

На кошачьей лѣстницѣ.

— Да ну его, провались онъ! Очень мнѣ нужно!—говорила Машка, фордыбачась.

На минутку остановилась на углу Казачьяго, по дорогѣ изъ булочной, съ Аннушкой изъ десятаго, что̀ напротивъ.

Аннушка посолиднѣе, а то, можетъ, просто вялая. Машка—вся огонь. Сѣрый платокъ у нея на одномъ плечѣ держится, даромъ, что весенній вѣтеръ, пыльный, вонючій и холодно-ѣдкій, лѣзетъ въ рукава и за воротъ, теребитъ передникъ.

Бѣлесые Машкины волосы подняты „по-модному", широкій ротъ молодо хохочетъ, сдвигаются глаза, блестя.

— При-детъ. Да хоть бы и что, вотъ не видали,—жмется она, притаптывая каблукомъ по тротуару.

Аннушка не очень вѣритъ.

— Ишь ты! Небось, заскучаешь! Вѣдь хорошенькій.

— Никогда онъ мнѣ и не нравится,— нагло вретъ Машка.— Онъ ничего, да вотъ не нравится. Ужъ ходитъ-ходитъ, и всякій разъ съ букетомъ. Да я евонные цвѣты къ барынѣ ставлю. Что мнѣ? Браслета мнѣ хотѣлось, такъ небось не подарилъ браслета. А что цвѣты-то изъ магазина таскаетъ...

— На Моховой, что ли, магазинъ?

— А я почемъ знаю! Спрашиваетъ наша кухарка разъ: что это, говоритъ, Илья Корнеичъ, какіе у васъ все цвѣты шикарные? А онъ ей: у насъ, говоритъ, магазинъ шикарный, оттого и цвѣты шикарные. А цвѣты, говоритъ, пріятнѣе всего дарить, ежели кого любишь. Наша-то кухарка съ ума по немъ сходитъ. Самовоспитанный, говоритъ, такой, и не сказать, что приказчикъ.

— Да чего, конечно, хорошенькій. А вотъ я, дѣвушка, видѣла третьеводни на Невскомъ,— барыня съ письмомъ посылала, ввечеру,— вижу, катитъ студентъ, ну, какъ есть твой Илья. И этакое ландо, и въ ландѣ содержанка. Очень похожъ, помоложе развѣ.

— Ну, ужъ студенты-то извѣстно безобразники,— равнодушно сказала Машка.— Прощай покуда, заходи...

И вдругъ обѣ визгнули тихонько и засмѣялись.

Подъ незажженнымъ угловымъ фонаремъ мелькнуло веселое лицо. Кто-то снялъ новенькій картузъ и встряхивалъ недлинными пышными волосами.

— Откуда это вы взялись? — бойко начала Маша.

— Да ужъ откуда ни взялся, а, признаться, къ вамъ пробирался. Дома ли Степанида Егоровна?

— А придете, такъ узнаете... Буду я еще съ вами по угламъ на свиданьяхъ стоять... Есть мнѣ...

И Машка, вся покраснѣвшая, вильнула прочь. Черезъ два дома кинулась въ ворота и совсѣмъ пропала.

Простившись за руку съ Аннушкой, которая вздохнула, Машкинъ обожатель пошелъ въ тѣ же ворота.

И черезъ минуту былъ уже въ просторной, свѣтлой и грязной Машкиной кухнѣ.

Онъ сидѣлъ за бѣлымъ столомъ у перегородки, чинно, вѣжливо и весело поглядывая на Степаниду Егоровну, пожилую кухарку изъ важныхъ. Она поила его чаемъ съ вареньемъ и поддерживала деликатный разговоръ. Деликатность и хорошій тонъ были коренной слабостью Степаниды Егоровны. Она считала себя знатокомъ хорошихъ манеръ, любила вѣжливость и уваженіе до такой степени, что даже извозчикамъ говорила „вы“.

Скромность, изысканную почтительность Ильи Корнеича она тотчасъ же оцѣнила и взяла его подъ свое покровительство.

Разсуждали тихо, мѣрно, разумно. Послушать Степаниду Егоровну — такъ никогда не повѣришь, что у нея строптивый и злобный характеръ, что Машкѣ отъ нея нѣтъ ни житья, ни покою.

— Ну, чего ты вертишься туда да сюда? — огрызнулась на нее кухарка.— Сѣла бы посидѣла. Вонъ опять Илья

Корнеичъ чудныя розы какія принесъ. Понимаешь ты много, деревня!

— Чего вы? Я чай господскій убираю. А что они букеты носятъ, такъ мы не просимъ,—добрая воля!

И Машка опять убѣжала.

Но сердце не камень. И, понемногу приближаясь, кокетничая и дичась, какъ молодая звѣриха, она уже очутилась у черной двери, около табурета Ильи Корнеича. Хохотала чему-то, угловато вертѣлась, и каждая жилка ея большеротаго лица играла.

— Я вотъ предлагаю удовольствіе сдѣлать,—говорилъ Илья Корнеичъ.—Марью Петровну сопровождать, если имъ угодно, въ театръ. Или же на балъ, на Пороховые. У меня знакомые есть. А Марья Петровна упираются.

— Понимаетъ она много театръ!—презрительно сказала Степанида Егоровна.

— Онѣ, Степанида Егоровна, утверждаютъ, что вы имъ разрѣшенія не даете отлучиться. Позвольте мнѣ нижайше быть посредникомъ и самолично просить у васъ этого требуемаго разрѣшенія.

Приказчикъ говорилъ что-то ужъ слишкомъ витіевато, но Степанида Егоровна вся таяла, а когда, получивъ разрѣшеніе, Илья Корнеичъ всталъ и сдѣлалъ видъ, что хочетъ у Степаниды Егоровны ручку поцѣловать, она даже застыдилась, спрятала руки и была въ упоеніи. Во-первыхъ, отъ сознанія своей власти, а во-вторыхъ, отъ знакомства съ такимъ воспитаннымъ человѣкомъ.

Машка выскочила провожать его на лѣстницу.

Пахнетъ, какъ всегда, тяжело, холодно;—кошками. Блѣдный мракъ блѣдной ночи, точно паутина тянется изъ оконъ.

— Машенька, душенька, и что вы все какія сердитыя,—

улыбаясь, говорилъ Илья. — И что вы все какія нелаСковыя...

Внизу, въ сѣняхъ, гдѣ было темно-сѣро, онъ обнялъ дѣвушку безъ дальнѣйшихъ словъ. Прижавъ ее къ стѣнѣ, цѣловалъ свѣжее, некрасивое лицо, большой ротъ.

Машка дернулась было, хотѣла что-то сказать свое, въ родѣ „безъ глупостевъ нельзя ли", „да ну-те васъ" — и ничего не сказала. Только задышала скоро-скоро подъ его летучими поцѣлуями.

— Ты моя душенька, Машенька, — шепталъ онъ, и въ шопотѣ была слышна улыбка. — Поѣдешь со мной? Ужо приду, смотри не отказывайся. А пока цвѣточки мои нюхай, меня вспоминай, глупенькая!

Наконецъ Машка вырвалась и убѣжала наверхъ. Онъ не держалъ ея больше.

Отворилъ дверь съ блокомъ, вышелъ на сѣрый, туманный дворъ, потомъ на такую же сѣрую, посвѣтлѣе, улицу.

ПЯТАЯ.

Плѣнникъ.

Однако итти назадъ, на Преображенскую, въ Лизочкину квартиру, нельзя: или слишкомъ поздно, или слишкомъ рано. Хотѣлъ было взглянуть на часы, да вспомнилъ, что съ нимъ нѣтъ часовъ. Онъ обыкновенно оставляетъ ихъ, потому что они золотые, очень дорогіе.

Куда жъ дѣваться? Одѣтъ онъ совсѣмъ не маскарадно, но все-таки скверное новое и длинное пальто не по немъ, и синій картузъ страненъ на волнистыхъ кудряхъ. Нельзя поѣхать туда, гдѣ его знаютъ.

Ему было ужасно весело. Нравилась ему и Степанида

Егоровна съ бонтономъ, и Лизочкины цвѣты, которые онъ упорно приносилъ Машкѣ, словно барышнѣ, и очень нравилось некрасивое, свѣжее Машкино лицо, которое онъ цѣловалъ на кошачьей лѣстницѣ.

Забавѣ своей, случайно выдуманной, онъ радовался: радовалъ его блѣдный паучій свѣтъ печальной улицы, и свернувшійся калачомъ на козлахъ горькій ванька; и уставшій добрый городовой на безлюдномъ перекресткѣ; и радовалъ себя онъ самъ,— веселый студентъ, простой, средній человѣкъ, такъ просто и свободно живущій.

Куда бы зайти, однако? Вездѣ хорошо.

Онъ вспомнилъ про небольшой, средней руки, трактиришко въ переулкѣ съ Гороховой. Бывалъ тамъ, правилось. Не совсѣмъ извозчичій, а такъ, мелкій людъ, всякіе попадаются.

Въ трактирѣ было пустовато. Двое какихъ-то ѣли въ углу селедку, странно запивая изъ чайника. Толстый торговецъ съ обезпокоеннымъ лицомъ, за бутылкой пива, все что-то шепталъ про себя и заботливо писалъ на бумажкѣ.

Веселый Машкинъ обожатель спросилъ себѣ чаю, положилъ картузъ на столикъ, встряхнулъ по привычкѣ волосами и сталъ оглядывать комнату.

Но почувствовалъ, что на него кто-то смотритъ, обернулся, и каріе съ золотомъ глаза его сразу встрѣтились съ другими, синими, тяжелыми.

Кто это? Не вспомнишь сразу. Кто это въ самомъ дѣлѣ?

Одѣтъ такъ скромно, что и не поймешь, интеллигентъ ли бѣдный, или рабочій. Узкое молодое лицо съ черной бородкой, блѣдное. И вотъ эти синіе глаза...

Ага, вспомнилъ! Стало еще веселѣе. Хотѣлъ встать и подойти, но не всталъ. Во-первыхъ, старая, безсознательная привычка осторожности, связанная вотъ съ этимъ синеглазымъ; во-вторыхъ, соображеніе: вѣдь онъ, синегла-

зый, ему не нуженъ. Захочетъ, узнаетъ,— а узнать вовсе не трудно,— самъ подойдетъ.

Человѣкъ съ черной бородкой всталъ и не торопясь подошелъ къ столику приказчика.

— Нельзя ли къ вамъ мнѣ подсѣсть?

Тотъ встрѣтилъ его смѣющимися глазами и сказалъ, тоже не повышая голоса:

— Садись, садись. Чай будешь пить или пиво? Отъ Наташи поклонъ, если она еще не пріѣхала.

— Нѣтъ еще. Спасибо, я чай буду. Что это ты какъ?

— А что?

— Да здѣсь... И... Ты вѣдь студентъ? Отъ Наташи знаю, вы встрѣтились.

— Вотъ и съ тобой встрѣтились. Если отъ Наташи знаешь обо мнѣ, такъ ужъ, вѣрно, все знаешь. А это...

Онъ показалъ глазами на приказчичій картузъ.

— Это случайно... Шалости... Никакого отношенія ни къ чему не имѣетъ. Михаилъ, скажи лучше о себѣ.

— Я давно тебя хотѣлъ повидать,— проговорилъ Михаилъ, не отвѣчая на вопросъ.— Да не выходило какъ-то... Къ тебѣ не рѣшался. Радъ, что встрѣтилъ.

— Значитъ, я тебѣ нуженъ? Отъ Наташи ты долженъ знать, что я не намѣревался искать ни тебя, ни другихъ, что всѣ вы для меня — только милый, хорошій кусочекъ моего прошлаго,— только!

— Ты не связанъ,— холодно сказалъ Михаилъ.

— Я и не могу быть связанъ, я говорю это для тебя, чтобы тебѣ все было ясно. Но отъ своего прошлаго я не отказываюсь; я сказалъ и Наташѣ, что не буду бѣгать отъ тебя, если ты меня найдешь.

— Юрій, вотъ въ чемъ дѣло... Впрочемъ, нѣтъ. Я лучше приду на Островъ, если выяснится необходимость. Ты вѣдь на Островѣ теперь живешь? А я вполнѣ могу прійти. Дѣло не во мнѣ.

— Все равно. Будь добренькій, приходи на Фонтанку. Повѣрь, тамъ лучше. И скажи теперь же, когда придешь.

— Къ графинѣ? Ты и тамъ живешь? Хорошо. Черезъ десять дней приду. Шестого мая. Да! Кнорръ у тебя бываетъ?

— Кнорра я видѣлъ. Такъ, мелькомъ. Онъ хотѣлъ зайти. Я не зналъ, что вы съ нимъ продолжаете...

— Не близко. Ну, такъ прощай теперь. Яковъ хотѣлъ зайти сюда; поздно, должно быть, не придетъ.

— Ахъ, еще Яковъ! Ну, этотъ... Я радъ, что не видѣлъ его.

Михаилъ угрюмо промолчалъ.

— И ты, помню, съ Яковомъ не дружилъ.

— Онъ мнѣ лично не былъ симпатиченъ,—сказалъ Михаилъ.—Цинизмъ въ немъ есть, понятный впрочемъ, но я не люблю цинизма. Повторяю, это просто мое личное чувство, и я себѣ никогда не позволялъ ему поддаваться.

— Господи, Михаилъ! Что ты только говоришь. Не поддаваться... личнымъ чувствамъ... Ну, да оставимъ.

— Ты тоже циникъ...

— Однако я тебѣ не былъ антипатиченъ никогда. Вспомни.

— Это опять необъяснимый капризъ личности.

— Нѣтъ, Михаилъ, это просто, пойми: развѣ мы похожи съ Яковомъ? Вотъ мнѣ приходитъ въ голову какъ разъ интересная вещь, ты скажешь—парадоксъ, но послушай: я откровенно забочусь прежде всего о себѣ, но мнѣ важно дѣлать это съ наименьшимъ вредомъ для другихъ; а Якову, который по-моему глупѣе всѣхъ глупыхъ людей, важнѣе всего повредить; онъ воображаетъ, что это самый вѣрный путь хорошо позаботиться о себѣ. Можетъ-быть я ошибаюсь, но такое у меня впечатлѣніе.

Михаилъ насупился.

— Оставимъ и психологію, и Якова. Въ сущности ты

такъ же мало его знаешь, какъ и я. Я знаю, что въ дѣлѣ Яковъ незамѣнимъ, этого съ меня довольно.

Онъ всталъ. Юруля не улыбался, лицо потемнѣло, въ глазахъ была досада.

— Подожди, Михаилъ. Еще одно слово о тебѣ. Сядь, прошу тебя. Не стоило бы, но ужъ такъ нашло на меня, хочется сказать.

— Ну, что?—нетерпѣливо и болѣзненно сказалъ Михаилъ, садясь.

— Ты мнѣ глубоко непріятенъ,—ты несчастенъ. Зачѣмъ это? Плѣнникъ мой бѣдный, заставляешь себя думать о „свободѣ другихъ“, а самъ-то? Я понимаю, тяжело признаться, что не вѣришь въ то, чему вѣрилъ (хотя это тяжесть предразсудка)—однако есть же разумъ, есть же свобода, есть же очевидность! Не вѣришь ты больше никому и ничему! И остаешься, стиснувъ зубы, все съ тѣми же людьми,—изъ-за чего, ради чего? Ради „долга“? Что это за тупость? Весь въ веревкахъ, да еще въ какихъ-то воображаемыхъ!

— Оставь, оставь,—строго сказалъ Михаилъ.

— И оставлю. Вѣдь я тебя не убѣждаю, не къ себѣ зову, мнѣ никого не нужно; я только совѣтую: попробуй опомниться. А это что же такое? Это безобразно. О, идеалисты! Досада, отвращеніе...—И вдругъ перебилъ себя:

— Извини, Михаилъ. Мнѣ вѣдь все равно. Увидѣлъ тебя—и сказалъ. Будь себѣ, какимъ хочешь. У меня сердце нѣжное... нѣтъ, глаза у меня нѣжные. Когда смотрю—жалко.

Они были теперь одни въ трактирѣ. Михаилъ заторопился.

— Прощай,—буркнулъ онъ.—Такъ я приду шестого. А не то черезъ Кнорра дамъ знать, когда.

Словъ Юрія онъ какъ будто и не слышалъ. Сидѣлъ задеревенѣлый.

Юрій самъ, выйдя минуты черезъ двѣ изъ трактира, уже смѣялся и удивлялся.

„Съ чего это я ему? Да ну его совсѣмъ! Какое мнѣ дѣло?"

Пошелъ пѣшкомъ на Преображенскую и уже на Невскомъ совершенно забылъ неожиданную встрѣчу.

ШЕСТАЯ.

Разнообразіе любвей.

Бѣлые до голубизны электрическіе пузыри межъ черныхъ сучьевъ, едва опушенныхъ, то надувались свѣтомъ, словно пухли, то ежились съ шипомъ. Гдѣ-то ужъ слишкомъ вверху честно желтѣетъ безполезная луна.

Злая ночь мая, петербургская, дышала ледкомъ. Небо свѣтло-сѣрое, какъ оберточная бумага, съ висящимъ ненужнымъ мѣсяцемъ, было глупо.

Внизу, напротивъ сцены, сидѣлъ за столикомъ безбородый мальчишка въ цилиндрѣ.

— Двоекуровъ! — крикнулъ онъ вдругъ.—Послушайте, Двоекуровъ!

Тотъ, высокій и тонкій въ студенческомъ мундирѣ безъ пальто, остановился равнодушно.

Оркестръ молчалъ. Слышенъ былъ песочный скрипъ подъ подошвами вялой толпы. Щелкнула гдѣ-то пробка.

— Это вы, Стасикъ?—сказалъ Юруля.—Здравствуйте.

Мальчикъ въ цилиндрѣ поспѣшно поднялся.

— Послушайте, Двоекуровъ. Послушайте, сядьте со мной. Вѣдь вамъ все равно. Вотъ у меня шампанское... Мы съ вами мало знакомы, но что жъ такое. Вѣдь вы одинъ?

Двоекуровъ сѣлъ.

— Пока одинъ. Что это вы нервничаете?—прибавилъ онъ участливо.

— Скажите правду, разъ навсегда: вы меня очень презираете?

Юруля поднялъ на него свои каріе съ золотыми искрами глаза, сдвинулъ со лба фуражку и улыбнулся.

— Вы, должно быть, проигрались, Стасикъ?

Стасикъ залепеталъ:

— Ну да... Откуда вы знаете? Но это все равно. Я одинъ, растерянъ. Чувствую, вся жизнь моя какъ-то гибнетъ. Всѣ меня презираютъ, я знаю... И я самъ себя презираю. Я низко палъ...

— Да будетъ вамъ,—равнодушно проговорилъ Юруля.— Не думаю я васъ презирать.

— Ахъ, Богъ мой, точно я не понимаю... Но увидѣлъ васъ... Вы такой странный. Не видишь—не помнишь, а видишь—почему-то любишь. Вы такой красивый. Не сердитесь...

— Я никогда не сержусь, Стасикъ. Но вы не кокетничайте со мной. Вашъ номеръ у меня, вы знаете, не въ ходу. А денегъ я вамъ не дамъ.

— Да развѣ я...—началъ Стасикъ.

— Нѣтъ, не дамъ.

— Если бъ вы могли... Немного... До четверга.

— Могу, но не дамъ. Не вижу, какое мнѣ удовольствіе дать вамъ денегъ?

Стасикъ растерялся. Онъ совсѣмъ не затѣмъ позвалъ Двоекурова, чтобы просить денегъ. Совсѣмъ за другимъ. Позвалъ, но зачѣмъ—онъ не помнилъ, и какъ увѣрить, что не хотѣлъ просить денегъ—не зналъ.

Безпомощно обидѣлся, вскипѣлъ.

— Вы, пожалуйста, не оскорбляйте меня, Двоекуровъ. Я никому не позволю... Я еще не потерялъ понятія о чести...

— Охъ!—шутливо вздохнулъ Юруля.—То самоунижались безъ мѣры, а то вдругъ польскій гоноръ заговорилъ... Экій вы глупенькій мальчикъ.

Музыка опять играла какую-то подпрыгивающую дрянь. Старые присяжные повѣренные съ женами и дамы безъ мужчинъ, въ свѣтлыхъ пальто, съ обыкновенными бабьи-продажными лицами, заходили повеселѣе.

Но было еще пустовато—было рано.

— Вонъ, кажется, Саша Левковичъ,—сказалъ Юрій, присматриваясь къ офицерскому пальто вдали.

Стасикъ взмолился:

— Двоекуровъ, не уходите еще! Лучше Левковича позовемъ, когда онъ мимо пройдетъ. Я знаю Левковича, я знакомъ...

Юрулю сталъ забавлять Стасикъ. Очень ужъ волновался.

— Развѣ такъ проигрались, что плохо приходится?

— Да нѣтъ... Не то...—началъ Стасикъ.—Конечно, проигрался. Но меня какъ-то вся моя жизнь мучитъ. И, право, не съ кѣмъ слова сказать.

— Какого же вы слова хотите?—опять участливо спросилъ Юруля.

— Я не знаю... Вы меня осуждаете?

— Полноте, Стасикъ. Бросьте вы. Хотите, лучше я васъ вонъ съ тѣмъ толстякомъ познакомлю?

— Я?.. Зачѣмъ мнѣ? А кто это?

— Писатель, поэтъ, довольно извѣстный. Раевскій. Онъ теперь не на виду, худенькіе молодые затерли, а когда-то однимъ изъ новаторовъ считался.

— Ахъ да... Я слышалъ... Нѣтъ, нѣтъ, Двоекуровъ, подождите. Я вамъ хотѣлъ одну вещь сказать...

Знакомства Стасика были больше въ чиновничьемъ богатомъ кругу и среди офицерства. Въ кругъ литературный онъ какъ-то не попадалъ, не успѣлъ, хотя и считалъ себя „эстетомъ скорѣе“. Юрій легко дружилъ со всѣми. Всѣхъ зналъ и всѣ его любили.

— Вы отговариваетесь,—продолжалъ Стасикъ,—а вѣдь

вы такой откровенный. Отчего вы не скажете мнѣ, вѣдь вы очень меня осуждаете? Осуждаете?

— Да,—произнесъ Юрій.

Стасикъ горько поникъ.

— Ну вотъ, такъ я и зналъ.

— Не то, что осуждаю,—продолжалъ Юрій,—и не за то, за что вы думаете, а просто жалѣю, что вы такъ неумно живете и скверно о себѣ заботитесь.

Стасикъ удивленно взмахнулъ на него черными, можетъ быть немного подведенными, рѣсницами.

— Если бы вашъ способъ добыванія денегъ былъ вамъ пріятенъ, доставлялъ вамъ удовольствіе—вы были бы вполнѣ правы. Если бы даже онъ вамъ былъ безразличенъ—ну, куда ни шло, ничего. Но такъ какъ вы вѣчно дергаетесь, мучаетесь, нервничаете, глядите совсѣмъ въ другую сторону, то, ей-Богу, глупо такъ надъ собой насильничать. До того назинтились, что ужъ о самопрезрѣніи заговорили. А себя крѣпко любить надо. Поняли?

Мелькая черными тѣнями и бѣлесыми пятнами свѣта, подошла маленькая, стройная женщина, очень хорошо одѣтая. Лицо у нея было совсѣмъ кукольное; только у дорогихъ куколъ бываютъ такіе нѣжные черные глаза, такія ровныя черныя брови, такіе свѣтло-бѣлокурые волосы, такой хорошенькій ротикъ. Однѣ веселыя ямочки на щекахъ были не кукольныя, а живыя.

— Лизокъ! Здравствуй!—сказалъ Юруля, улыбаясь.— Хочешь, садись къ намъ?

Она подобрала складки атласнаго пальто и сѣла, глядя на него и тоже улыбаясь.

— Ну вотъ, ты Стасика развесели, а то онъ носъ на квинту повѣсилъ. Говоритъ, что никому не нравится.

— Стаська-то?—засмѣялась она.—Какъ же! Это такая воображалка, думаетъ, что лучше него и на свѣтѣ нѣтъ!

Она весело и просто поглядывала на Стасика, говорила добродушно, какъ незлая маленькая женщина, которая не завидуетъ другимъ, когда ей самой хорошо.

— Правда, онъ не дуренъ,—продолжалъ Юрій съ серьезнымъ видомъ.—Вотъ ты, Лизочка, могла бы въ него влюбиться?

Лизочка захохотала. Качалось нѣжное бѣлое перо на ея шляпѣ.

— Въ Стасика? Ха-ха-ха!

Юрій попрежнему серьезно, но со смѣющимися глазами настаивалъ:

— Ну вотъ, Лизочка, почему нѣтъ? Онъ, я знаю, давно въ тебя влюбленъ. По крайней мѣрѣ нравишься ты ему очень.

Лизокъ все еще смѣялась. Потомъ передохнула.

— Да ну васъ обоихъ съ пустяками.

Стасикъ, красный, волновался.

— Видите, Двоекуровъ, вотъ и она... А это несправедливо.—Это правда, Лили, прибавилъ онъ вдругъ,—вы мнѣ очень, очень нравитесь.

Лизочка, не смѣясь, передернула плечомъ.

— Да брось, глупенькій, точно я не знаю! Поумнѣе тебя.

Теперь тихонько смѣялся Юрій.

— Конечно, ты умнѣе, милая. Вотъ и я безъ тебя то же Стасику доказывалъ. И хоть правда, что ты ему нравишься, однако тебя ему не видать, пока онъ не на „собственныхъ лошадяхъ“ ѣздитъ.

— Да хоть бы и на собственныхъ...—начала Лизочка, ничего не понявъ.

Юрій уже съ кѣмъ-то разговаривалъ издали. Толстый Раевскій и Левковичъ подошли вмѣстѣ. Черезъ минуту Юруля подозвалъ еще двухъ: пожилого приличнаго и молодого неприличнаго.

Первый, со смуглымъ выразительнымъ лицомъ нерусскаго типа (говорили, что онъ не то изъ болгаръ, не то изъ армянъ) былъ извѣстный критикъ-модернистъ, талантливый, углубленный и запутанный, Морсовъ; второй—поэтъ „послѣдняго поколѣнія“, грубый, тяжелый, небрежно одѣтый, съ толстой палкой въ рукахъ и скверными зубами во рту—Рыжиковъ.

Незнакомыхъ Юрій перезнакомилъ. Должно быть каждый приплелся въ этотъ холодный садъ одиноко и праздно, потому что всѣ съ удовольствіемъ усѣлись за столикъ Юрули. Даже два столика составили вмѣстѣ.

Раевскій и критикъ Морсовъ спросили шампанскаго, Юрій тоже, и все подливалъ Лизочкѣ и Стасику; поэтъ съ палкой презрительно пилъ пиво, а Левковичъ не пилъ ничего, сидѣлъ, молчаливый, на углу и смотрѣлъ на скатерть.

Морсовъ уже разливался соловьемъ, напрягая голосъ, потому что въ это время на сценѣ куча толстыхъ бабъ разѣвала рты въ тактъ музыкѣ, которая дубасила во всѣ тяжкія.

Морсовъ вездѣ и всегда разливался соловьемъ. У него были круглые и красивые періоды, которые катились мягко, точно разубранныя колеса. Они ласкали и баюкали слухъ, а въ концѣ еще оказывалось, что и мысль у него не лишена оригинальности, даже парадоксальности, и всегда пріятной.

Раевскій и Рыжиковъ, хотя познакомились, не сказали другъ другу ни слова. Перекидывались молчаливыми взглядами; поэтъ „конца вѣка“ судилъ поэта „начала вѣка“,—и обратно; оба другъ друга видимо презирали. Раевскій, „лирикъ до-революціоннаго періода“, презиралъ Рыжикова за то, что онъ пьетъ пиво, скверно одѣтъ, худъ и молодъ; эстетъ „новѣйшаго періода“ такъ же искренно презиралъ Раевскаго за его элегантность, непомѣрную толщину

французскія словечки. Впрочемъ, въ презрѣніе Раевскаго вмѣшивалась зависть: онъ чувствовалъ, что отъ чего-то отсталъ. И чрезмѣрность полноты его немного мучила, хотя обыкновенно онъ утѣшалъ себя сходствомъ съ Апухтинымъ.

— Я провожу удивительные вечера въ кругу молодыхъ моихъ друзей,—продолжалъ катить Морсовъ колеса, и кивнулъ въ сторону Рыжикова.—Какъ мнѣ жаль, что поэты предыдущаго поколѣнія, поэты уже опредѣлившіеся, уже сдѣлавшіе много, въ родѣ глубокочтимаго Анатолія Борисовича,—тутъ онъ кивнулъ въ сторону Раевскаго,—не помогаютъ начинающей молодежи, не соединяются съ ними, уходятъ въ уединеніе, прочь отъ литературной семьи...

Раевскій, точно, еще никогда не сдавался на приглашенія Морсова, избѣгалъ всякихъ новыхъ „литературныхъ“ вечеровъ, хотя никакъ нельзя было сказать, что онъ живетъ въ „уединеніи“.

— Вы, дорогой Юрій Николаевичъ, знаете наши интимные вечера прошлаго сезона, вы бывали,—не унимался Морсовъ.—Долженъ сказать, что теперь дѣла идутъ нѣсколько иначе. То, что было, было прекрасно, однако время измѣняетъ все. Притокъ новыхъ силъ и новые запросы духа...

Юрій улыбнулся, вспоминая.

— Да, запросы духа...—произнесъ онъ разсѣянно, и прибавилъ вдругъ:

— А вонъ Жюличка... Она одна? Лизокъ, позови ее къ намъ... Да нѣтъ, сама идетъ. Жужулинька! Не угодно ли присѣсть.

Подошедшая дѣвица была брюнетка, поплотнѣе Лизочки, хуже одѣта, вульгарнѣе, но тоже очень хорошенькая.

Она развязно улыбнулась всѣмъ, вдвинула стулъ между Рыжиковымъ и Морсовымъ, спросила раковъ и бѣлаго вина, отказавшись отъ шампанскаго.

Раевскій не обратилъ на новопришедшую никакого вниманія. Онъ давно уже и Морсова не слушалъ, и даже на Рыжикова не глядѣлъ: присосѣдившись къ Стасику, онъ что-то говорилъ ему вполголоса, колыхаясь мягкимъ тѣломъ. Тотъ отвѣчалъ, хотя строилъ мины, вскидывалъ рѣсницами. Порой, исподтишка, бросалъ трусливый взоръ на Юрулю, но Юруля не глядѣлъ въ его сторону.

Всѣ болтали между собою, кромѣ Морсова, который разглагольствовалъ для всѣхъ.

Пользуясь шумомъ, Юруля сказалъ Лизочкѣ почти на ухо:

— Отчего ты здѣсь?

— Воронка телефонировалъ: въ комиссіи. Будетъ во второмъ часу. Чтобъ его! Это значитъ—всю проваландается. Ты, коли надо, потихоньку.

— Ладно. Знаю. Вотъ молодецъ, что дома не высидѣла.

— Да, какъ же, буду я!—Молчи,—прибавила она тише,—вонъ ужъ Юлька уставилась на насъ. Ѣстъ глазищами.... Ей-Богу, дуру ей сейчасъ скажу...

Но Юрій сурово толкнулъ ее подъ столомъ ногой,—онъ терпѣть не могъ бабьихъ выходокъ,—и Лизочка сейчасъ же весело заговорила о пустякахъ съ Левковичемъ. Левковичъ ей, впрочемъ, почти не отвѣчалъ.

Воронка или „дядя Воронка“, про котораго Лизочка сказала: „въ комиссіи“, былъ очень богатый южный помѣщикъ Воронинъ, депутатъ. Юрулѣ онъ приходился троюроднымъ дядей со стороны матери. Въ домѣ графини изрѣдка бывалъ, даже обѣдалъ; графиня къ нему благоволила. Хотя Воронину перевалило за пятьдесятъ, онъ глядѣлъ еще молодцомъ и съ Юрулей сразу вступилъ въ пріятельскія отношенія.

И такъ хорошо сошлось: у Лизочки покровитель былъ неважный, а дядя Воронка томился случайностями петер-

бургской жизни давно. Юруля зналъ, что Лизочка ему понравится. Дѣйствительно, такъ понравилась, что дядя Воронка еще недавно, на лѣстницѣ графини, съ лукавымъ взглядомъ поблагодарилъ Юрулю, а Лизочкина квартира на Преображенской стоитъ полторы тысячи, обстановка самая новая. Всѣ остались довольны.

Морсовъ начиналъ изсякать, тѣмъ болѣе, что никто его не поддерживалъ, и приставалъ теперь главнымъ образомъ къ Юрулѣ.

— Вы мнѣ всегда казались художникомъ, Юрій Николаевичъ. Я знаю, вы ничего не пишете, но развѣ нужно причастіе къ какому-нибудь извѣстному искусству, чтобы быть художникомъ? Отнюдь. Съ такимъ лицомъ, какъ ваше, съ такимъ... я бы сказалъ, рисункомъ всей вашей личности, можно не написать ни одной строки, но не быть поэтомъ— нельзя. Вы занимаетесь философіей...

— Нѣтъ,—сказалъ Юруля.—Я занимаюсь химіей.

Морсовъ запнулся.

— Какъ химіей?

— Да, у X... въ Парижѣ. Очень серьезно. И буду продолжать.

— Химіей? Да... Ну, все равно. Развѣ химія—не та же поэзія? Важно отношеніе. Вы увлеклись химіей...

— Да нисколько я не увлекся... Простите, ради Бога, одну минуточку... Здравствуй, милый,—сказалъ онъ, вставая и подавая руку подошедшему къ нему высокому студенту, мѣшковатому, съ болѣзненнымъ, темнымъ лицомъ.

— Мнѣ надо тебя на нѣсколько словъ...

— Сейчасъ, Кнорръ. Ты спѣшишь?

— Нѣтъ.

— Ну такъ присядь къ намъ. Я вмѣстѣ съ тобой выйду. Мнѣ тоже скоро надо.

Кнорръ зналъ почти всѣхъ, а у Морсова даже бывалъ,

потому что разъ написалъ цѣлую поэму. Онъ сѣлъ, залпомъ выпилъ бокалъ шампанскаго. Слегка опьянѣлъ, лицо сдѣлалось еще блѣднѣе и еще трагичнѣе.

Лизочка глядѣла на него со страхомъ и отвращеніемъ. Грубоватая Жюлька захохотала и не высунула ему языкъ только потому, что Юруля былъ съ нимъ ласковъ. Потомъ опять обернулась къ Рыжикову, съ которымъ они давно оживленно переговаривались короткими и выразительными словечками.

— Я съ удивленіемъ только что узналъ, что Юрій Николаевичъ измѣнилъ философіи ради химіи,—завелъ опять Морсовъ, обращаясь уже къ студенту Кнорру.—Я говорю, что самое разнообразіе запросовъ духа въ наше время...

Кнорръ грубо прервалъ его:

— Въ Эльдорадо за раками о запросахъ духа еще начнемъ разговаривать...

Нежданно уязвленный Морсовъ не успѣлъ отвѣтить, вмѣшался Юруля.

— Вездѣ можно разговаривать о чемъ угодно, Кнорръ, не въ томъ дѣло. Георгій Михайловичъ не дослушалъ меня. Я, дѣйствительно, химіей занимаюсь, но вовсе не потому, что особенно увлеченъ ею.

— А почему же?—съ любопытствомъ спросилъ Морсовъ.

Юруля объяснилъ просто:

— Да видите ли, я давно разсчиталъ, что къ зрѣлымъ годамъ у меня явится желаніе нѣкоторой, хотя бы просто почтенной, извѣстности, нѣкотораго уваженія... А объ этомъ надо заранѣе позаботиться. Выдающихся способностей у меня нѣтъ, на геніальныя выдумки я разсчитывать не могу. Химія, какъ я убѣдился, скорѣе всего другого позволитъ мнѣ приспособиться, сдѣлать какое-нибудь даже открытіе небольшое... Въ мѣру моего будущаго сорокалѣтняго честолюбія... За многимъ я не гонюсь, я человѣкъ средній...

Раевскій вслушался и повернулъ къ Юрію грузное тѣло.

— А-а! Blaise Pascal! Да, да, вспоминаю: „Qu'une vie est heureuse quand elle commence par l'amour et qu'elle finit par l'ambition!"

— Вотъ именно!—улыбнулся Юрій.

Въ Морсова это объясненіе, несмотря на всю его простоту, какъ-то совершенно не вошло.

Рыжиковъ неожиданно закричалъ:

— Какая поза!

Но, встрѣтивъ удивленный взглядъ Юрули, сникъ и прибавилъ:

— Это, конечно, расчетливо...

Кнорръ не слушалъ. Долго не сводилъ глазъ съ Юрія, облокотившись, положивъ голову на руку, и вдругъ сказалъ:

— Чортъ тебя возьми, какой ты красивый, Рулька!

Юрій спокойно улыбнулся.

— Счастливый. Потомъ всѣ такіе будутъ. Qu'une vie est heureuse...

— Красивые?

— Счастливые.

— Это когда мы рылами несчастными сдохнемъ?

Юрій развелъ руками.

— Ну, конечно. Надо людямъ еще очень долго умнѣть...

— Поѣхалъ на свое.

— Это не мое, а общее. И что ты съ красоты начинаешь? Ты начинай съ ума и счастья...

Кнорръ опять закричалъ капризно:

— Не хочу я въ Эльдорадо съ дѣвчонками о счастьѣ разговаривать! Не хочу! Не мѣсто здѣсь никакимъ „вѣчнымъ вопросамъ". Не желаю!

Лизочка, какъ всегда, ровно ничего не поняла, но горячо вступилась за Юрулю. Перебранка ея съ Кнорромъ

дѣлалась забавна, когда Морсовъ, вдругъ осѣненный новой мыслью, принялся уговаривать Юрія непремѣнно прійти на одно собраніе черезъ десять дней.

— Новое общество „Послѣдніе вопросы"... Вы не были?.. Закрытое, но очень, очень многолюдное. Приходите, приходите. Я пришлю повѣстки. Будетъ собесѣдованіе по поводу „Приговора" Достоевскаго. Приходите, говорите. У насъ всѣ говорятъ...

— Я приду,—мрачно сказалъ Кнорръ.

Морсовъ началъ приставать къ Раевскому, который не слушалъ.

— А? Что? Куда? — поднялъ онъ жирныя вѣки на Морсова.

— Вотъ, если и вы, молодой человѣкъ, интересуетесь, пожалуйста...—обратился тотъ къ Стасику.

Стасикъ взволнованно согласился, польщенный. Раевскій тоже сталъ благосклоннѣе. Юруля молчалъ, а Морсову именно его-то ужасно захотѣлось.

— Обѣщайте! Придете?

Былъ ужъ двѣнадцатый часъ. Садъ не то что оживился, но весь какъ-то двигался, за столиками почернѣло; на сценѣ, съ прорывающимся сквозь музыку шипомъ, тряслись сѣрыя тѣни, сѣрые мертвецы кинематографа.

— Посмотрите, не символъ ли это нашей сегодняшней, бѣло-петербургской, ночной жизни? — спрашивалъ Жюльку сильно подвыпившій Рыжиковъ.

Но та равнодушно отвертывалась.

— Надоѣлъ ужъ синематошка-то... Повсюду теперь это... Нашли, чѣмъ угощать.

— Мнѣ пора, господа, извините,—сказалъ Юрій, поднимаясь.—Георгій Михайловичъ, милый, если мнѣ захочется— я непремѣнно приду въ ваше общество. Не очень ихъ люблю, но иногда мнѣ весело покажется, и прихожу.

— Поразсуждай, поразсуждай о „вѣчныхъ вопросахъ“,— мрачно усмѣхаясь, сказалъ Кнорръ.

Морсовъ обѣщалъ прислать Юрію какъ можно больше повѣстокъ.

— Нѣтъ, что у насъ за аудиторія!

Раевскій тоже поднялся, тяжело, собираясь уходить. Нерѣшительно кусая розовыя губки, поднялся и Стасикъ, держась поодаль.

— Саша, — тихо сказалъ Юрій, наклонясь къ Левковичу. — Что съ тобой? Какое у тебя лицо. Молчишь все время...

Левковичъ весь опустился.

— Такъ, непріятности... Заботы.

— Какія?

— Хотѣлъ сказать тебѣ. Да не стоитъ, братъ. И неудобно здѣсь, самъ видишь. Послѣ.

— Зайди ко мнѣ, Саша. Или я приду...

Левковичъ вдругъ вспыхнулъ.

— Нѣтъ, нѣтъ. Я самъ приду, самъ.

Юрій неуловимо пожалъ плечами. Начинается досада!

Лизочка взглянула на него искоса, быстро; Юрій такимъ же быстрымъ взоромъ отвѣтилъ ей: „да, да“,—и отвернулся къ другимъ.

У Лизочки времени было мало, но она еще осталась на минутку и разсѣянно слушала вѣжливыя нѣжности Морсова.

Юрій ушелъ съ Кнорромъ.

СЕДЬМАЯ.

Солома на башмакѣ.

Когда они миновали мало освѣщенную выходную аллею, Юрій замѣтилъ у самой будки скверно одѣтаго господина,

рыжеватаго, съ веснущатымъ лицомъ и синими подглазниками.

Онъ только что входилъ въ садъ и прошелъ мимо очень быстро, но Юрій успѣлъ замѣтить, что они съ Кнорромъ переглянулись.

— Этотъ еще тутъ что дѣлаетъ? — морщась сказалъ Юрій, когда они, черезъ кучу каретъ, извозчиковъ и автомобилей, выбрались на проспектъ.

— Кто?—нерѣшительно произнесъ Кнорръ.

Хмель съ него давно соскочилъ.

— Ну, кто... За тобой, что ли, слѣдитъ? Вѣрно ли порученія исполняешь?

— А ты... узналъ?

— Эту-то прелесть вашу не узнать! Всегда онъ мнѣ былъ непріятенъ.

— Отчего ты Якова такъ...—началъ Кнорръ.

Юрій вдругъ остановился.

— Послушай, Кнорръ, у меня нѣтъ времени. Я долженъ ѣхать далеко, переодѣться и успѣть еще попасть въ одно мѣсто. Говори скорѣе, что тебѣ нужно. Ты, какъ я вижу, не отъ себя...

— Я отъ Михаила.

— Ну отлично. А всего бы лучше, оставили бы вы меня въ полномъ покоѣ! Я совершенно не интересуюсь ни вашими дѣлами, ни вашими настроеніями. Былъ бы радъ и не знать ничего. Вѣдь я вамъ не мѣшаю.

Кнорръ нервно поправилъ фуражку.

— Конечно, если ты этого хочешь... Никто не будетъ насильно... Я такъ, и скажу Михаилу. Извини.

— Да говори ужъ!—досадливо крикнулъ Юрій.—Я очень жалѣю Михаила и Наташу, и если я могу что-нибудь сдѣлать для нихъ мнѣ не непріятное, я сдѣлаю. Не понимаю твоей роли. Ты вѣдь всегда былъ съ боку припека... Говори скорѣе. А то я уѣду.

— Михаилъ у тебя тогда былъ. Сказалъ, что надобность пока миновала.

— Ну? Михаилъ у меня раза три ужъ былъ.

— Такъ вотъ... А теперь явилась надобность. Дѣло въ Хесѣ.

— А!—холодно проговорилъ Юрій.—Тѣмъ хуже.

— Выслушай, прошу тебя! Ради меня. Я не вижу исхода, если ты... Яковъ говоритъ, что...

— Для Якова я ничего не сдѣлаю. Да разъ дѣло касается Хеси, то я и для Михаила тутъ ничего не стану дѣлать.

Кнорръ весь потемнѣлъ, хотя и безъ того былъ зелено-сѣрый во мглѣ дневной ночи.

— Не Яковъ, не Яковъ,—залепеталъ онъ.—И не ради дѣла, я знаю, ты отъ него ушелъ. Ради меня, просто... Ты знаешь, и я, вѣдь, къ дѣламъ ихъ не такъ ужъ близокъ. Просто... Но, конечно, если ты и слушать не хочешь... Пусть самъ Михаилъ.

— Пусть.

Они прошли молча нѣсколько шаговъ. Юрію стало жаль Кнорра: жаль той досадной, скучной жалостью, которую онъ чувствовалъ къ несчастнымъ и глупымъ. Кнорръ мѣшалъ ему, влекся за нимъ, какъ солома, приставшая къ башмаку. Хотѣлось сбросить его во что бы то ни стало—и сейчасъ.

— Кнорръ,—сказалъ Юруля кротко.—Ты объясни, въ чемъ именно дѣло. Воспоминаніе о Хесѣ мнѣ непріятно, потому что она тогда влюбилась въ меня, а мнѣ совсѣмъ не нравилась, и это создавало прескучныя исторіи. Но я ничего не имѣю противъ нея. Ты, я знаю, любишь ее, или воображаешь, что любишь. Мнѣ это все равно, но тебя я жалѣю. Скажи, въ чемъ дѣло?

Кнорръ забормоталъ:

— Въ подробностяхъ пусть ужъ Михаилъ... А я только

два слова. Они ее сюда вызываютъ. Или не вызываютъ, но только она должна сюда пріѣхать на нѣкоторое время. И ей очень, очень рискованно, именно ей. Надо ее хорошо устроить. Мѣста же теперь нѣтъ такого. Съ внѣшней стороны она обезпечена, а мѣста вотъ нѣтъ...

— Что жъ такъ обѣднѣли?—презрительно спросилъ Юрій. И добавилъ:

— Не понимаю, при чемъ я тутъ...

— Ты въ сторонѣ... Графиня...

Юрій разсмѣялся.

— Что же, я ее графинѣ въ видѣ любовницы своей представлю? Или въ своей комнатѣ на Васильевскомъ поселю?

— У тебя знакомые...

— Брось, Кнорръ, это все ребячества. Да, наконецъ, зачѣмъ я стану?..

Спохватился и опять кротко прибавилъ:

— Ну, я подумаю... Спрошу еще Михаила... А теперь прощай. Вотъ послѣдній порядочный извозчикъ, тамъ ужъ не будетъ. И безъ того опоздалъ.

Не предлагая Кнорру подвезти его (еще согласится!), Юруля быстро вскочилъ въ пролетку и поѣхалъ на Островъ.

Только его Кнорръ и видѣлъ.

А по дорогѣ на Островъ Юрулѣ пришла вдругъ въ голову забавная мысль... Правда, почему нѣтъ? Они будутъ довольны, для Хеси это будетъ невинно-поучительно, а Юрулѣ—и это главное — будетъ весело. Отлично, такъ и рѣшимъ.

А пока—ну ихъ всѣхъ къ чорту: и Кнорра, и Хесю, и всѣхъ. Юруля спѣшитъ къ себѣ. Надо снять мундиръ. Неловко.

ВОСЬМАЯ.

Бай-бай.

Проходятъ, проходятъ ночные часы.

Тихій стукъ, щелкъ французскаго замка. Тихій, тише нельзя.

Кругло вспыхнулъ свѣтъ въ передней, мелькнулъ котелокъ на подзеркальникѣ, рядомъ съ бѣлыми перьями широкой шляпки, кругло вспыхнулъ свѣтъ, на полмгновенья—и сгасъ. Отворилась, затворилась внутренняя дверь. Совсѣмъ шопотомъ. Точно ничего не было. Такъ, просто тишина вздохнула.

Но кто-то чуткій слышалъ.

Прошуршали по коридору быстрые мелкіе шаги,—босыя ножки, точно мышиныя лапки. Опять отворилась та внутренняя дверь.

Лизочка просунула въ нее свою кукольно-бѣлокурую голову.

— Юрикъ, ты?—позвала чуть слышно.

На дворѣ теперь обнаженно свѣтло и страшно, потому что по-ночному мертво. Но въ комнатѣ шторы сдвинуты, горитъ граненое яйцо на потолкѣ. Юруля—въ креслѣ, усталый; какъ былъ—въ черномъ пальто, мягкую шляпу только сбросилъ.

Въ комнатѣ хорошо пахнетъ, коверъ, низкій диванъ, за блѣдной ширмой свѣжая постель.

Притворила дверь, босая, вошла, въ открытой сорочкѣ, съ продернутой въ кружева лиловой лентой у плечъ.

— Я проститься... Дрыхнетъ Воронка. Терпѣть этого не могу, когда онъ на всю ночь располагается. Ну что?

— Все продулъ, Лизокъ.

И Юруля устало и весело улыбнулся, сладко зѣвнулъ. Она тоже улыбнулась.

— Экій какой! А весело хоть было?

— Весело. Я тебѣ завтра разскажу. Всѣ четыреста просадилъ. А сначала—вотъ везло!

— Четыреста? Не больше?

— Откуда жъ больше?

— То-то. Мнѣ Юлька третьеводни хвасталась... Да вретъ? Смотри, ты не ври. У Юльки ничего не бралъ?

И она вдругъ ревниво сдвинула брови, смѣшно черныя подъ кукольными волосами.

Юрій устало протянулъ руки и посадилъ ее къ себѣ на колѣни.

— Вотъ глупая! Если тебѣ веселѣе, чтобъ я твои деньги проигрывалъ, такъ зачѣмъ мнѣ лгать? Да мнѣ сегодня больше и не надо было.

Лизокъ обнимаетъ его голыми, похолодѣвшими руками и счастливо смѣется. Шершавое сукно пальто царапаетъ ей тѣло, цѣпляетъ кружева.

— Ужасно я въ тебя влюблена. Ты такой... такой...

Не нашла слова, подумала.

— Не знаю, какой. А только все бы сейчасъ тебѣ отдать и чтобъ ты былъ доволенъ. Юлька, вонъ, такъ и ѣстъ тебя глазами. Тоже! И вретъ, вретъ... Коммерсантъ, говоритъ, у меня... А сама прошлогоднія перья на шляпку нацѣпила. У ней за душой и съ коммерсантомъ всего ничего.

— Вотъ постой, я ей получше кого-нибудь найду,— шутливо сказалъ Юрій.

Лизочка вся вспыхнула, дернулась, чуть не заплакала. Юрію не захотѣлось ее дразнить.

— Ну, хорошо, хорошо,—протянулъ онъ сонно.—И Юлька славная. Ты мнѣ больше нравишься, вотъ и все. Знаешь меня, понравилась бы Юлька больше... Будь довольна тѣмъ,

что есть. А теперь уходи, я спать хочу. Вотъ увидитъ еще Воронка, что тебя нѣтъ...

— Не проснется, храпитъ, какъ медвѣдь. А веселый какой пріѣхалъ, шутъ его дери, и даромъ, что прямо изъ комиссіи, ухитрился, заранѣе прислалъ цвѣтовъ,—дорогіе, бѣлые, роскошнѣйшіе! Въ горшкѣ. Вотъ завтра, коли хочешь, тащи своей хамкѣ!

Лизочка знала немножко про шалости Юрія съ переодѣваніемъ. Не сердилась,—да и развѣ бы помогло?—а умирала—хохотала.

— Цвѣты? Такъ куда это я ихъ съ горшкомъ потащу?

— Оборви, да и неси! Вотъ еще!

— Ну, завтра лѣнь...

Онъ зѣвнулъ и прибавилъ опять:

— Иди же, Лилька, право! Ну, гопъ!

Она поцѣловала коричневую волнистую прядь у него на лбу и соскочила.

— Въ тебя всѣ влюблены, а вотъ ты со мной. И комната твоя у меня. А я больше всѣхъ влюблена. Ну прощай, спи и то. Небось, ужъ часъ пятый, коли не больше.

У дверей она еще обернулась.

— Спи поздно. Мой-то часовъ въ десять уѣдетъ. А мы завтракать станемъ.

— Ладно.

Она, вспомнивъ, засмѣялась.

— Какой этотъ твой потѣшный, говорунъ-то... Сегодня въ Эльдорадкѣ... Такъ и плыветъ изъ него, такъ и плыветъ... Вѣдь это онъ и есть, къ кому ты Вѣрку нашу тогда возилъ? Разспрошу ее завтра...

— Да иди ты, наконецъ!

— Ну ужъ и Кноррище этотъ... Вотъ ненавистный! Чисто чугунный! Иду, иду, спи!

Тихо, опять по-мышиному, убѣжала. Юруля съ насла-

жденіемъ зѣвнулъ еще нѣсколько разъ, вскочилъ, сбросилъ съ себя все, повернулъ кнопку—и огонь электричества провалился.

ДЕВЯТАЯ.

Симпозіонъ.

Утромъ дождикъ. Въ Лизочкиной столовой „подъ дубъ", съ однимъ широкимъ надворнымъ окномъ—темновато. Завтракъ смѣшной: дорогіе сыры, закуски и фрукты изъ Милютиныхъ лавокъ, прекрасное вино, а изъ горячаго только и есть, что яйца всмятку.

Но Юрію и Лизочкѣ это нравится, имъ весело, они смѣются.

Подаетъ на столъ высокая черноватая горничная, совсѣмъ молодая еще, но худая, точно болѣзненная. У нея короткій носъ и лицо совсѣмъ не непріятное, волосы острижены и вьются.

— Вѣрка!—кричитъ ей Лизочка.—Ей Богу, вотъ смѣшной-то! Такъ и катитъ, такъ и катитъ! А видать, что ни скажи—сейчасъ повѣритъ! Дурынды они всѣ, должно быть. И выдумаетъ же этотъ Рулька, право! Въ курсистку играть!

Вѣрка смѣется, показывая тѣсные бѣлые зубы.

— Да какъ же ты?—пристаетъ Лизочка.—Разскажи по порядку.

— Ужъ забыла, должно быть. У меня послѣ больницы, отъ тифа этого, память такая стала...

— Ну, не ври! Чего тутъ, садись съ нами. Я тебѣ икема налью. А ты разскажи. Мнѣ интересно, потому что я вчера въ Эльдорадкѣ этого Морсова все слушала. Садись, садись.

Вѣрка—давняя Лизочкина подруга. Года полтора тому назадъ, когда Юрій зналъ ее, она хорошо была пристроена,

съ богатенькимъ офицеромъ, и даже Лизочкѣ покровительствовала. Лизочку — тогда еще глупенькую, еще черноволосую дѣвочку, Юрій однажды у нея видѣлъ мелькомъ. Съ тѣхъ поръ дѣла повернулись. Вѣркѣ сильно не повезло. Запуталась въ какую-то глупую исторію, потомъ заболѣла воспаленіемъ легкихъ, а выздоравливая — схватила въ больницѣ тифъ. Къ веснѣ едва выписалась. Ни кола, ни двора. На улицу итти—у Вѣрки свой гоноръ, да и соображенье есть.

Лизочка — добрая душа, а тутъ и Юрій посовѣтовалъ: „Да возьми ты ее къ себѣ въ горничныя. Сама все ноешь, что съ „хамками" не можешь сладить. Кухарку брось, дома, вѣдь, никогда не обѣдаешь, лакей у тебя при каретѣ, а съ Вѣркой отлично будетъ. И мнѣ ужъ надоѣли эти соглядатайки. Не повернись".

Такъ и устроились. Вѣрка была довольна. Она послѣ болѣзни слабая. А въ бѣломъ передникѣ дверь дядѣ Воронкѣ отворить, да съ граммофона пыль смахнуть — отдыхъ, а не работа. Онѣ обѣ, Лизочка-госпожа и Вѣрка-горничная, очень естественно приняли данное положеніе. Такъ оно есть— чего же еще? Вѣрка называла Лизочку „барыней", а Лизочка, при другихъ, говорила даже ей „вы", какъ слѣдуетъ.

Порой онѣ ругались, Вѣрка „отвѣчала", но не болѣе, чѣмъ настоящая горничная.

Старыя „дѣла" Юрія съ Вѣркой рѣшительно никого не смущали. Они были забыты. Впрочемъ, Вѣрка и прежде никогда Юрію не нравилась особенно. У нея осталась къ нему послушливая преданность.

По приглашенію развеселившейся Лизочки Вѣрка, не жеманясь, сѣла за столъ, и вино выпила.

— А ты его въ гости не звала? — спросила она Лизочку про Морсова, переходя на дружеское „ты".— Вотъ интересно, еще узналъ бы меня.

Лизочка захохотала.

— Никогда бы не узналъ! Порожѣла ты съ той поры здорово!

— Вотъ еще! Я поправлюсь,—сказала Вѣрка, нимало не обижаясь.

— Ну ладно, ты мнѣ разскажи обстоятельно! Отъ него ничего толкомъ не добьешься,—кивнула Лизочка на Юрулю.—Вонъ, сидитъ и смѣется. Ну, говоритъ, двоюродная сестра, ну курсистка, а ты что?

— Да я что? Мнѣ тоже интересно. Онъ всегда, бывало, выдумываетъ... Научилъ меня, а память у меня была хоро-шая...

— Ну, ну?—нетерпѣливо допрашивала Лизочка.—Чему жъ онъ тебя научилъ? И какъ же тамъ было?

Юруля, улыбаясь лѣниво, поощрилъ:

— Да разскажи ей, Вѣрка. Я ужъ и самъ забылъ. Теперь ужъ этого и нѣтъ ничего.

— Нѣту?—спросила Лизочка съ сожалѣніемъ.—Что-жъ они? Разссорились всѣ?

— Ну, много ты понимаешь. Я говорю про тѣ вечера, куда я Вѣрку повезъ. Да тебѣ не втолкуешь. Пусть Вѣрка разскажетъ.

— А и смѣшно было, Лиза,—начала та съ одушевленіемъ.—Говоритъ онъ мнѣ вдругъ: хочешь, говоритъ, я тебя въ самое что ни на есть утонченное общество свезу? Настоящіе, говоритъ, аристократы, и ты между ними будешь. Я гляжу на него, а онъ смѣется: аристократы... какъ? Духа, что ли? Это, молъ, еще выше, да и забавнѣе. Наилучшіе художники и писатели, говоритъ, строго между собой собираются и утонченно по-своему веселятся, и лишняго никого не допускаютъ. А я тебя привезу.

— Ишь ты!—сказала завистливо Лизочка.—Я бы боялась. Выгнали бы еще скандально, если строго и на дому.

— Ну, я не боялась. Во-первыхъ, что какіе это тамъ такіе аристократы, точно мы ихъ не видимъ, а затѣмъ онъ меня научилъ ловко. Одѣлась я въ простую юбку и блузку бѣлую, ну поясъ кожаный, однако все новенькое. Волосы наушниками, и будто я его двоюродная сестра, курсистка изъ Москвы. И будто я тоже, не хуже ихъ, стихи могу писать, и стихи далъ на бумажкѣ, велѣлъ наизусть на случай выучить. А у меня память была о-отличная...

— Неужели помнишь? — воскликнула Лизочка. — А ну-ка, скажи! Скажи, душка!

— Теперь, послѣ больницы, ужъ не знаю... Вспомню, такъ скажу. Ты слушай по порядку.

— Ну?

— Ну вотъ, и будутъ тебя, говоритъ, звать Софія, что значитъ премудрость.

— Сонька, попросту.

— Не Сонька, а Софія. И должны тамъ всѣ, самые солидные, и господа, и дамы, надѣвать костюмы, а меня, когда мнѣ костюмъ станутъ предлагать, научилъ что̀ отвѣтить.

— Что же?

— А вотъ погоди. И должны тамъ всѣ лежать...

— Это что же? — разочарованно фыркнула Лизочка.— Сряду же и ложатся?

Юрій усмѣхнулся.

— Глупенькая! Это они за столомъ должны возлежать... Это давнымъ-давно такая мода была...

— Ну да, возлежать,— поправилась Вѣрка. — На столѣ кушанья, вино, а они вокругъ, только вмѣсто стульевъ обязательно кушетки, на нихъ и возлагаются.

— И ты возложилась?

— Погоди. Онъ научилъ меня: больше все молчать и глядѣть строго и скромно. И если, говоритъ, пакости какія увидишь,—мало ли что покажется!—не обращай вниманія,

не хохочи, гляди строго, съ благоволеніемъ, и не думай чего-нибудь: это они по примѣру самыхъ благородныхъ древнихъ фамилій.

Лизочка не выдержала.

— Нѣтъ, ну и дура же ты, Господи! Ужъ я бы не попалась. Это просто онъ тебя надувательски надулъ, то и хохочетъ теперь! Просто повезъ тебя въ самое послѣднее мѣсто. Хороша!

Вѣрка смутилась было. Но Юрій, продолжая смѣяться, сказалъ:

— Не бойся, Вѣрка, не слушай! Я тебя ни капельки не обманывалъ! Настоящее было мѣсто, и аристократія настоящая.

Лизочка не унималась.

— Нѣтъ, Морсъ-то, Морсъ-то! Посмотрѣть—манеры самыя деликатныя.

— А ты на него напрасно, онъ ничего, ни-ни, вѣжливый, и все такъ гладко. И костюмъ на немъ такой длинный былъ, пестрый, ногами даже путался. Другіе многіе, дѣйствительно...

— Похабничали?

— Ну... Мнѣ что? Я гляжу да молчу. И все, милая моя, говорятъ, говорятъ... Вино въ чашкахъ. Чашку не выпьетъ, въ рукахъ держитъ, говоритъ-говоритъ, насилу опрокинетъ.

— И все стихами?

— Всяко. Я не слушаю, свои въ умѣ держу, кабы не забыть. На головахъ вѣнки изъ цвѣтовъ, живые, ну и повяли, потому на проволокахъ.

— И ты съ вѣнкомъ?

— Нѣтъ. Я не приняла. Ты слушай. Когда это ужъ достаточно поговорили и поугощались, Юрка вдругъ встаетъ и объявилъ: Софія, говоритъ, желаетъ теперь высказать

свою причину, почему она отказалась надѣть костюмъ и остается среди всѣхъ въ своемъ обыкновенномъ платьѣ.

— Такъ и объявилъ? Ухъ ты батюшки! А ты что жъ?

— А я ужъ знала. Взяла свою чашку, подняла вотъ такъ... — Вѣрка подняла стаканъ съ икемомъ, — ну и сказала...

— Да что жъ ты сказала?

— Вотъ забыла, какъ сказала, — вздохнула Вѣрка. — Вотъ ужъ и не сказать теперь такъ ни за что, хоть убей. Съ голосомъ учила. Я между вами, говорю, одна безъ костюма потому... потому...

— Эхъ, да ну тебя!

— Потому, молъ, что костюмъ—это... полумѣра, что ли?..

Она безпомощно взглянула на Юруля. Но тотъ коварно молчалъ, улыбаясь.

— Однимъ словомъ, постой, — продолжала Вѣрка.— Однимъ словомъ, что они всѣ трусы, что желаютъ всѣ... да, освобожденія отъ условій и кромѣ того красоты, а что для этого,—я будто чувствую и знаю, — надо собираться совершенно обнаженно, потому что въ тѣлѣ красота, а не въ костюмѣ. И въ красотѣ чистота, и я, молъ, одна это понимаю, потому что я, вотъ, чистая дѣвушка, сейчасъ бы готова на это, но вижу, что они еще не готовы, и сижу въ своемъ платьѣ скромно, а въ костюмъ однако наряжаться не согласна, это, молъ, только себя обманывать. Не истинная красота.

Вѣрка проговорила все это однимъ духомъ, глядя на Юрулю. Тотъ покачалъ головой.

— Забыла ты, забыла, — сказалъ онъ. — Много чепухи наплела. Тогда лучше у тебя вышло.

Лизочка только руками всплеснула.

— Батюшки, срамъ-то какой! И неужели жъ они тебя за этакія вещи объ выходѣ не попросили?

— Ничевошеньки. Я думала не то. Думала, скажу — да вдругъ они все поснимаютъ. А не то закричатъ: хвастаешь, такъ раздѣвайся, а мы не въ банѣ. Мнѣ же, признаться, не хотѣлось. Однако, милая моя, ничего подобнаго, а прямо фуроръ. За мое здоровье чашками такъ и хляскаютъ, кричатъ, что я вѣрнѣе всѣхъ сказала, что выше ихъ понимаю, что они, дѣйствительно, не готовы. Говорили-говорили, Морсовъ въ хламидѣ путается, другой тамъ былъ, черненькій, въ коротенькой юбчонкѣ, на кушеткѣ лежитъ, кричитъ: мы старые люди, но мы идемъ къ новому! Скандалили довольно.

— Весело, значитъ, было?

— Нѣтъ, милая моя, скучища. У меня ужъ глаза повылѣзали. Да и они — поговоритъ одинъ, выпьетъ, другой объ томъ же начнетъ. Вотъ и веселье. Ну, наугощались, конечно. А такъ, чтобъ особеннаго—ничего.

— Мнѣ было забавно,—сказалъ Юрій.—Я все на Вѣрку смотрѣлъ. Вотъ важничала, курсистка.

— Наконецъ, того—сонъ меня сталъ на этой кушеткѣ клонить. А Морсъ пристаетъ: Софія, скажи стихи свои!

— На „ты“ ужъ къ тебѣ?

— Всѣ на „ты“, по условію. Дамы тамъ, солидныя видно, имъ тоже всѣ „ты“. Ну, я сначала, конечно, ломаюсь. Послѣ говорю, хорошо, только что припомню изъ стараго. Не будьте строги. Все онъ меня научилъ, да ужъ потомъ я и сама разошлась, вижу, какъ съ ними надо.

— Неужели помнишь стихи?—спросилъ Юрій.—Помнишь, такъ скажи Лизочкѣ.

Стихи тогда Юрій самъ старательно—не сочинилъ, онъ не умѣлъ сочинять, а составилъ для Вѣрки. Составилъ съ расчетомъ и со знаніемъ какъ дѣла, такъ и вкусовъ тогдашнихъ.

Теперь Юрій, конечно, не помнилъ ни одного слова.

Такъ давно это все было, такъ устарѣло. Но ему забавны казались воспоминанія Вѣрки: вѣдь для нея это приключеніе осталось свѣжимъ и важнымъ.

— Ахъ, не припомню я,—сказала Вѣрка.—Послѣ больницы ужъ не та у меня память. Погоди-ка.

Она встала въ позу, опустивъ руки, наклонивъ голову и начала нараспѣвъ, густо. Голосъ у нея былъ довольно пріятный.

Я вся таинственна,
Всегда единственна,
Я вся печаль.
И мчусь я въ даль,
Какъ бы извинута
Изъ чрева древняго...
Не сѣмя ль темное
На вѣтеръ кинуто?
Въ купели огненной
Не докрещенная,
Своимъ безгибельемъ
Навѣкъ плѣненная...
Душа скитальная...

Вѣрка запнулась. И повторила безпомощно:

Душа скитальная...

— Ну? Что жъ ты?—поощрилъ Юруля.—Вали дальше. Длиннѣе было.

Онъ тогда очень старался, чтобы стихи составить средніе, чтобы не пересолить въ пародію. И дѣйствительно, пародіи не было.

Вѣрка припоминала:

Душа скитальная...

— Вотъ хоть ты что! Больше, ей-Богу, ни-ни, ничего не помню!

Лизочка была разочарована.

— Ну-у!—протянула она.—Я думала, интереснѣе что-нибудь. И такъ заунывно и говорила?

— Такъ надо.

— Что жъ они? Понравилось?

— Должно быть, понравилось. Руки мнѣ жали и объясняли, что это значитъ.

— Что же?

— Ну, я ужъ не слыхала. Устала, бѣда! Цѣлый вечеръ на этой кушеткѣ, да гляди строго, да молчи,—оно дойметъ.

— Ишь ты, бѣдненькая!—пожалѣла Лизочка.—Я бы не выдержала. И, главное, ради чего, коли веселья никакого не было.

— Нѣтъ, въ началѣ смѣшно. Послѣ только наскучило. Ну, побаловались они еще, затѣмъ платья свои понадѣвали и по домамъ. А ужъ потомъ я не знаю, было ли у нихъ еще, нѣтъ ли.

— Можетъ, они потомъ безъ костюмовъ, Юрка, а?—спросила Лизочка.

Юрію надоѣло. Онъ зѣвнулъ.

— Не знаю. Я больше не былъ. А потомъ за границу уѣхалъ. Да нѣтъ, теперь ужъ ничего этого нѣтъ. Мода прошла. Теперь не дурачатся, теперь серьезно, лекціи читаютъ.

— Ну, лекціи...

— Ничего, ты пойди какъ-нибудь, послушай, я тебѣ билетъ дамъ.

— И мнѣ дай,—попросила Вѣрка.—Не выгонятъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, въ общей залѣ. Садитесь смирно и сидите.

— Скука?

— Еще бы. А надоѣстъ—уйдете. Вотъ, признаться, вы мнѣ теперь обѣ ужасно надоѣли. У меня къ тебѣ дѣло было, Лизокъ, да скучно, и некогда теперь. Какъ-нибудь

послѣ. Отдохну и поѣду. Обѣдаю я въ одномъ мѣстѣ нынче.

Онъ всталъ и открылъ окно. Въ столовой было накурено. Вѣрка, превратившись въ горничную, принялась убирать со стола.

Въ эту минуту въ передней зазвонили.

Лизочка прислушалась и вдругъ вскочила, подхвативъ ленты своего капота.

— Вѣра, Вѣра,—зашептала она.—Живо! Все со стола вонъ! Это Воронка, я его руку знаю! Ключа-то не даю, дудки! Не иначе какъ опять забылъ что-нибудь утромъ, растеряха! Въ спальной не убрано? Ладно, я прямо въ постель, скажи, барыня еще не вставала... Юрунчикъ, прощай.

Она подскочила къ Юрію, на лету чмокнула его и исчезла.

Въ одинъ мигъ столъ опустѣлъ, какъ будто ничего на немъ никогда и не стояло. Юрій неслышно скрылся. И Вѣрка уже отворяла дверь, скромная и ловкая въ своемъ бѣломъ передникѣ, извинялась передъ бариномъ, что не сразу услыхала звонокъ, докладывала, что барыня опять заночивали и не велѣли себя будить.

Дядя Воронка довѣрчиво пошелъ самъ въ спальню. Онъ только на минутку. Онъ, дѣйствительно, забылъ утромъ у Лизочки какой-то, никому кромѣ него ненужный, портфель.

ДЕСЯТАЯ.

На Фонтанкѣ.

Необыкновенно унылая квартира — квартира графини. Весь домъ унылый, старый—ея собственный. Такіе бываютъ казенные дома, казенныя квартиры. Окна темныя, высокія, съ мелкими и будто всегда грязными стеклами.

Комнатъ непомѣрно много, половина изъ нихъ — безполезны. Какія-то буфетныя, какія-то угловыя. У графини своя гостиная, своя столовая, гдѣ съ нею обѣдаетъ Литта и двѣ чрезвычайно приличныя приживалки. Николаю Юрьевичу подаютъ особо, да, кажется, и готовятъ особо. Юрій, когда жилъ на Фонтанкѣ, обѣдалъ тоже съ сестрой и графиней.

Къ отцу Юрій чувствовалъ дружеское сожалѣніе. Онъ боленъ и въ зависимости отъ графини. Считалъ, однако, что отецъ малодушенъ и слишкомъ рано озлобился. Могъ бы, если бъ не капризничалъ, поддерживать нѣкоторыя связи и вообще жить гораздо пріятнѣе.

Онъ ласково и шутливо выговаривалъ ему подчасъ. Николай Юрьевичъ махалъ рукой, но потомъ оживлялся и даже начиналъ доказывать себѣ и Юрію, что вовсе онъ не такъ опустился и вовсе не такъ ужъ его забыли. Врядъ ли онъ любилъ сына, однако цѣнилъ посѣщенія: они развлекали и утѣшали его. Веселый, красивый, увѣренный и здоровый Юрій ему нравился.

На дочь Литту онъ не обращалъ никакого вниманія. Графинина внучка.

Въ этотъ день Юрій пришелъ часа въ два, посидѣлъ у отца, а послѣ пилъ чай съ сестрой. Графинѣ нездоровилось, она не выходила.

— Отчего ты теперь не живешь съ нами?—спрашиваетъ Литта тихо.

Въ домѣ всѣ тихо говорятъ.

Юруля смотритъ на сестру, на ея еще по-дѣтски распущенные волосы, блѣдные, связанные чернымъ бантомъ; и улыбается.

Отъ его улыбки въ комнатѣ дѣлается уютнѣе.

— Почему не живешь съ самой заграницы?—опять спрашиваетъ Литта.

— Развѣ я не живу? Я часто ночую. Тамъ, на Островѣ,

мнѣ ближе къ университету, ты знаешь. И заниматься удобнѣе.

Но Литта качаетъ головой.

— Развѣ здѣсь мѣшаютъ? Твоя комната самая хорошая. Большая. И прямо изъ передней. Ничего не слышно. Да вѣдь у насъ нигдѣ ничего не слышно.

Юруля опять улыбается.

— Скучно у васъ очень.

— Юруля, а я тебя боюсь.

— Неправда. Меня никто не боится. Это глупости.

Литта краснѣетъ и дѣлаетъ сердитое лицо.

— Да, не боюсь. Это не то. Но какъ-то я тебя не понимаю. Не знаю.

— И я тебя не знаю, сестренка. А зачѣмъ знать другъ друга?

Литта удивилась, но ничего не сказала. Помолчала, подумала.

— И отъ отца, и отъ графини — такая скука идетъ, — сказалъ Юруля искренно. — Я бы тутъ не могъ все время жить. А иногда люблю.

— Юра, мнѣ хочется въ гости къ тебѣ. Да вѣдь бабушка не пуститъ.

— Ничего, потомъ пуститъ. Ты съ кѣмъ выходишь?

— Съ ней выѣзжаю, въ Лѣтній садъ. Или иногда, съ Марьей Владиміровной.

Марья Владиміровна — одна изъ важныхъ графининыхъ приживалокъ.

— Прежде было лучше, когда miss Edd жила,—продолжала Литта.—Но выдумала бабушка вдругъ, не надо гувернантокъ, порча—гувернантки, и вотъ я теперь одна-одинехонька. Только учителя и учительницы цѣлый день, приходящіе. Надоѣло ужъ.

Юруля глядѣлъ на нее и думалъ что-то свое.

— Ну, не ной,—сказалъ онъ.—Ты пока слушайся ста-

рухи. Понемножку будешь свободнѣе, со мной станетъ пускать. О гувернанткахъ не жалѣй. Графиня это не глупо выдумала—вонъ ихъ. Характеръ только портятъ.

И вдругъ добавилъ, по какому-то внутреннему сцѣпленію мыслей:

— Что, Саша Левковичъ у васъ бываетъ съ женой?

— Отчего ты спросилъ? Да, былъ разъ, еще когда ты не пріѣхалъ, когда только что женился. Ахъ, Юра! Она прехорошенькая, но ужасно странная. А ты, оказывается, давно съ ней знакомъ?

— Давно, прежде... Когда еще отецъ ея былъ живъ. Еще и Саша ея не зналъ.

— Ну, когда это давно? Ей и теперь съ виду четырнадцать лѣтъ. Бабушкѣ она не понравилась.

— А тебѣ?

— А мнѣ... Видишь ли, сначала я ужасно обрадовалась. Думаю, вотъ Саша женился, grand'maman къ нему благоволитъ, станутъ бывать у насъ, я съ ней подружусь... Она, вѣдь, такая молоденькая. Ну, а потомъ...

— Что же потомъ? Grand'maman не одобрила?

— Да нѣтъ... Не то. А она сама какая-то... Я, впрочемъ, разъ только ее и видѣла. У нея такія манеры...

— Манеры!—засмѣялся Юрій.—Ну, милая, ты сама по-бабушкиному заговорила.

Литта вдругъ ужасно разсердилась.

— Какъ тебѣ не стыдно! Я вижу, ты ничего не понимаешь. Прежде, когда мы маленькіе были, ты понималъ, и я тебѣ все говорила, а теперь ты какъ всѣ. Вотъ и правда, что я тебя боюсь, то-есть не боюсь, а не знаю, мы какъ чужіе. Точно я о манерахъ забочусь! Я не про то. Но и пусть мы чужіе, если такъ. Я сама тебѣ теперь давно не все говорю про себя, и не нужно.

Юрій нѣжно притянулъ ее за рукавъ.

— Ну прости, дѣтка. Про манеры я тебѣ нарочно, это правда. И мы совсѣмъ не чужіе. Хотя я думаю, что „все про себя говорить“ никому не слѣдуетъ, и ты хорошо дѣлаешь, что не говоришь. А на меня не сердись. Лучше разскажи про Муру, что она тутъ дѣлала. Я ужъ пойму, почему она тебѣ не понравилась.

— Да не то, что не понравилась...—начала Литта, усаживаясь ближе къ Юрію и успокаиваясь.—А просто... дикая она какая-то. Вотъ пріѣхали они, grand'maman къ ней сначала ничего. И она ничего, только все вертится. Коса за спиной. Объ отцѣ ее grand'maman спрашиваетъ — помню, говоритъ, генерала,—а Мура такъ странно: „да, жалко старика!“ Потомъ вдругъ ко мнѣ: „Пойдемте, покажите мнѣ вашу комнату, познакомимся!“ Пошли.

— Ну, что жъ тутъ такого?

— Да, ничего, я даже рада была, но grand'mère уже насупилась. Я повела ее въ классную, потомъ и въ спальню. Она шляпку сбросила, совсѣмъ гимназисткой стала, хохочетъ, по стульямъ прыгаетъ. И о тебѣ тутъ стала говорить. Что ты у нихъ бывалъ и что она тебя Юрулей звала. Поцѣлуйте, говоритъ, его отъ меня крѣпко, когда онъ пріѣдетъ, скажите, чтобъ онъ въ гости ко мнѣ приходилъ, что я теперь замужемъ. Да ты у нихъ ужъ былъ?

— Да... Разъ былъ.

— Ну, такъ она тебѣ разсказывала?

— Что? Ничего не разсказывала. Говорила, что ты хорошенькая дѣвочка, только...

— Только что?

— Ничего. Вѣдь она глупая, Мура. Вотъ и весь секретъ.

— Конечно, глупая. Ты послушай дальше. Она опять о тебѣ. Онъ, говоритъ, ужасно красивый и притомъ негодный, но оттого-то мнѣ и нравится. Я не выдержала и говорю хо-

лодно: пожалуйста не отзывайтесь такъ о моемъ братѣ. Я къ этому не привыкла.

Юруля крѣпко поцѣловалъ ее.

— Ахъ ты, защитница моя глупенькая. Ну?

— Она никакого вниманія, хохочетъ, какъ бѣшеная, и вдругъ, нѣтъ, ты вообрази! начала меня щипать, честное слово, и пребольно! Согласись, что это... что это...

У Литты при одномъ воспоминаніи разгорѣлось ухо подъ пышными волосами.

— Дда...—протянулъ Юруля.—Какая дура! Это противно.

— Еще бы! Когда они уѣхали, grand'maman говоритъ: я очень люблю этого бѣднаго Сашу, а что касается ея... и ко мнѣ: вы, говоритъ, должны понять que ce n'est pas une amitié pour vous.

— А ты?

— Рада была. Vous avez parfaitement raison, grand' mère, d'ailleurs elle ne me plait nullement.

Она засмѣялась, вскочила со стула и сдѣлала реверансъ.

— Вотъ ты къ ней и ходи, а я не хочу! По-моему и Саша сталъ хуже съ тѣхъ поръ какъ женился. Растерянный какой-то.

Юрій не улыбался, думалъ. Должно быть о Левковичѣ. Съ того вечера въ Эльдорадо, гдѣ Левковичъ сидѣлъ, какъ въ воду опущенный, онъ у Юрія еще не былъ.

-- Юруня, ты уходишь?—И дѣвочка тревожно на него посмотрѣла.

— Я приду къ обѣду. И вечеромъ останусь.

— Ахъ, Юра! А можно мнѣ къ тебѣ въ комнату прійти вечеромъ?

— Не знаю.

Литта огорчилась и молчала, не смѣя ничего больше спросить.

— Сестренка, ну чего ты? Вѣдь я тебя никогда не гоню. А сегодня ко мнѣ сюда кое-кто придетъ.

Она взглянула осторожно исподлобья.

— Можетъ быть Михаилъ придетъ?

— Да, и Михаилъ тоже...

Литта вся просіяла.

— О, Юра! Ну я не говорю про сегодня, пусть я сегодня не приду, если и другіе еще у тебя, но, когда Михаилъ—я такъ рада! Знаешь, я его мало видѣла, но я его еще тогда помню, еще до твоей поѣздки, еще я маленькая была, онъ къ тебѣ приходилъ. И теперь сразу узнала, хоть онъ измѣнился. Ужасно мнѣ нравится. Все молчитъ, но у него такіе глаза... такіе, точно онъ про себя молится.

Юруля усмѣхнулся.

— Ты не смѣйся. Онъ все молчитъ... И я чувствую тутъ тайну.

— А чувствуешь, такъ и не болтай. Глупо вредить людямъ. Я вотъ сейчасъ жалѣю, что ты ходила ко мнѣ и видѣла Михаила. Это, пожалуй, лишнее.

Литта покраснѣла до слезъ.

— Да развѣ я... Какъ это жестоко, Юра. Вотъ какъ ты меня не понимаешь. Я и не хочу ничего знать. А съ кѣмъ я разговариваю, болтаю, подумай? Вѣдь у меня никого нѣтъ. Какъ ты могъ, Юра.

Онъ уже опять улыбался.

— Знаешь? Ты права. Я глупость сказалъ. Зато у меня презабавная мысль, и я тебя сейчасъ утѣшу. Тебя Михаилъ занимаетъ. По-моему онъ въ жесточайшихъ ошибкахъ, которыя заразительны,—но что до того? Ты сама по себѣ, сама должна разбираться... Всякому свобода полезна. Твоя учительница математики уѣхала. Хочешь, я посовѣтую бабушкѣ будто бы своего товарища прежняго? Madame... Если я смѣю рекомендовать... quelqu'un qui est très sûr...

и такъ далѣе. А это будетъ Михаилъ.. Хоть ненадолго,—тебѣ удовольствіе, ему заработокъ. Онъ математикъ здоровый... Чего ты пугаешься?

— Юра... Да какъ же? А если тутъ тайна? Какъ же онъ будетъ приходить?

— Глупая ты дѣвочка. Въ этой-то могилѣ нашей—кому до кого дѣло? Папа съ кресла не встаетъ, а если графиня разокъ на него сквозь лорнетъ посмотритъ—повѣрь, ничего не увидитъ. Небось, хочется?

Конечно, Литтѣ очень хочется. Она веселая и умная дѣвочка, въ одиночествѣ перечитала всю Юрулину библіотеку. Знаетъ и понимаетъ больше, чѣмъ говоритъ. Она часто, полуневольно, напвничаетъ—даже съ братомъ. Ей свободнѣе казаться ребенкомъ. А сама съ собою—она, хотя еще ребенокъ,—уже человѣкъ. И безсознательно женскаго въ ней уже много.

Разсказывая про Муру Левковичъ, она искренно и совсѣмъ по-дѣтски возмущалась. Воспоминаніе о Михаилѣ вдругъ сдѣлало ее серьезной, взрослой.

— Хорошо, Юра. Попытайся это устроить. Я тебѣ буду очень благодарна. И скажи Михаилу, что ему нечего опасаться моей болтливости.

— Ого, вотъ мы какія серьезныя барышни! Ты, впрочемъ, не разсчитывай на него очень. Онъ съ тобой, можетъ, и слова не скажетъ ни о чемъ, кромѣ математики. Веселья не жди.

— Ничего я не жду. И съ разговорами къ нему приставать не буду. Не безпокойся.

Юруля обнялъ ее и поцѣловалъ въ голову.

— Знаешь, Улитка, если бъ ты была братишкой у меня, а не сестренкой, мнѣ бы съ тобой весело было! А то сейчасъ графиня, сейчасъ нельзя, и все-таки ты кое-что не поймешь никогда! Ну, ничего, будь умница. За обѣдомъ увидимся.

А вечеромъ я, можетъ, успѣю Михаилу сказать словечко...

Онъ повернулся, чтобъ итти.

— Да! Вы нынче опять на Царскую дачу поѣдете? Забылъ спросить...

— Ну, конечно. И не скоро. Папа бы поѣхалъ, да grand'maman ни за что раньше, чѣмъ въ серединѣ іюня. А ты развѣ не пріѣдешь, Юра?

— Не знаю. Терпѣть не могу эту дачу. „Красный домикъ" совсѣмъ забросили.

Литта вздохнула. Она сама не любила скучную Царскую дачу. У графини была другая, въ Финляндіи, она-то и называлась „Красный домикъ". Давно, прежде, они жили тамъ. Но уже лѣтъ шесть, какъ она стоитъ пустая. Большая, старая, но еще крѣпкая, заколоченная. Тамъ умерла мать Литты, и графиня ненавидитъ дачу, хоть не продаетъ и внаймы не отдаетъ. Юрію дача нравится. Лѣтомъ во флигелькѣ живетъ сторожъ, и Юрій бывалъ тамъ года два тому назадъ. Сыро немножко, дача подъ горой у рѣчки, но пустынно, кругомъ лѣсъ. Страшно, говоритъ графиня, дичь... Мать Литты очень любила эту дачу. Стоила она дорого.

Когда Юрій тихо затворилъ за собой темную дверь, Литта подошла къ окну. Думала о чемъ-то. Облачный день, сухой, небо — какъ пыль. Едва видно его, небо. Вода въ каналѣ—какъ черная пыль. Кривая панель, рѣшетка, у рѣшетки барки тяжелыя, на баркахъ доски, доски, доски... Пахнетъ, должно быть, тамъ дегтемъ, деревомъ и гнилой водой... Должно быть,—а можетъ и нѣтъ, Литта не знаетъ, пыльное окно еще не выставили. Вонъ и ломовой трясется, вѣрно, грохочетъ—а чуть слыхать. Скука, скука.

Унылая и торжественная квартира—квартира графини.

ОДИННАДЦАТАЯ.

Француженка.

Наташа, сестра Михаила, уже больше недѣли сидѣла въ номерѣ гостиницы на Морской, мучилась и не знала, что ей предпринять.

Положеніе было запутанное и трудное. Когда нынче зимой, въ Парижѣ, она встрѣтила Юрія Двоекурова и разговаривала съ нимъ въ Люксембургѣ, она была неискренна. Ни малѣйшей бодрости въ ней не было уже и тогда. Наросталъ хаосъ въ душѣ. Она медленно отдалялась отъ людей, прежде близкихъ, и вышло, что съ Михаиломъ у нея тоже прекратились связи,—по крайней мѣрѣ она ничего о немъ уже не знала и перестала его понимать.

Это было мучительно. Почему-то казалось, что только онъ, братъ, любовь ея жизни, поможетъ ей. И хотя Юрію сказала Наташа не безъ надменности: „Михаилъ прежній",— не вѣрила, что совсѣмъ прежній. Но какой?

И явилось у нея острое желаніе, томленіе, необходимость увидать Михаила. Потомъ пусть будетъ, что будетъ— но увидаться надо. Ни въ какія дѣла она входить не станетъ, о нихъ разспрашивать не будетъ, ей нужно только видѣться съ нимъ.

Необыкновенно сложно и мучительно устроить это. Чтобы пріѣхать въ Петербургъ — ей нужна помощь людей, ставшихъ далекими. Чтобы принять эту помощь—кое-какія порученія, хотя бы минимальныя,—она должна взять на себя... Ну пусть, все равно. Наташа должна видѣть Михаила. Она вся сузилась на этой мысли.

Устроилось и внѣшне очень неудобно. Французская гражданка m-elle Thérèse Duclos, пѣвичка, пріѣхавшая въ Россію искать ангажемента, — какъ ей принимать въ номерѣ

съ піанино такого человѣка, какъ Михаилъ? Да и какъ искать его? Наташа обѣщала самой себѣ быть осторожной до щепетильности, до послѣдняго предѣла. Въ пѣвичку рѣшила—перевоплотиться. И пѣть она умѣла, и по-французски говорила, точно парижанка,—это пустое. А вотъ какъ Михаила добыть, не измѣняя своему плану осторожности „до смѣшного“,—она не знала.

Ждать? Очень трудно ждать. И страшно. Для себя пріѣхала, надо быть вдесятеро осторожнѣй. Были у нея адреса, для порученій, но она никуда нейдетъ. Лучше ждать. Петербургъ ей—какъ чужой. Все измѣнилось, все другое... а что? Неопредѣлимо.

Вспомнила вдругъ Юрія. Вотъ кого легко принять во „Франціи“. И адресъ графини вспомнила. Написала ему французское надушенное письмо. Подумала: „не пересаливаю ли?“ Нѣтъ, пусть. По почерку узнаетъ.

И опять ждетъ. Отвѣта нѣтъ.

Каждый день Наташа долго гуляетъ по Морской. Ни одного знакомаго лица. Пристаютъ офицеры, франты. Она отбояривается рѣзко, но не сурово, чтобы не измѣнить своей роли. Вѣдь она—пѣвичка, и одѣта, какъ пѣвичка, которая не должна быть сурова.

Отвѣта все нѣтъ. Написать еще разъ? Измученная Наташа опять шла по Морской, уже ни о чемъ не думая и ни на что не надѣясь,—и вдругъ остановилась.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, у витрины перчаточнаго магазина, стоялъ хмурый, ненарядный офицеръ и глядѣлъ на перчатки, которыя явно его не интересовали.

Наташа видѣла его раза два давно, издали,— и все-таки сейчасъ же узнала. Это родственникъ Юрія. И пріятель. Юрій показывалъ ей на него въ древнія странныя времена, на многолюдномъ собраніи, въ какой-то залѣ. Ея онъ не знаетъ. Это хорошо. Но какъ объяснить, что она его знаетъ? По-

ложимъ, если сказать, что она уже была въ Петербургѣ... Трудно. Ну, да все равно.

— Monsieur... Je vous demande bien pardon,—начала она.

Офицеръ, не улыбаясь, обернулся и взглянулъ вопросительно.

Наташа, изо всѣхъ силъ стараясь не смущаться (не подходило къ роли), затараторила по-французски:

— Monsieur... Вы, кажется, родственникъ Юрія Двоекурова. Не знаете ли, гдѣ онъ теперь живетъ? Я недавно пріѣхала... Хотѣла съ нимъ повидаться. Мы такіе добрые друзья...

Саша Левковичъ слушалъ, не понимая отъ неожиданности, чего хочетъ эта разодѣтая дама, и хмуря брови.

Изъ перчаточнаго магазина вдругъ выскочила миленькая дѣвочка лѣтъ пятнадцати, въ круглой шляпкѣ и, поднявъ задорную мордочку, подбѣжала къ Левковичу.

Тотъ безпомощно обернулся.

— Вотъ, Мура, это дама, кажется, француженка... Кажется, спрашиваетъ Юрія.

— Юрія?

И Мура, не теряя ни минуты, кинулась къ Наташѣ и затараторила съ ней по-французски чуть ли не быстрѣе самой Наташи. Мура была въ восторгѣ отъ приключенія. Къ француженкамъ она имѣла слабость. Въ одну минуту узнала все, что Наташа ей могла сказать. То, что mademoiselle артистка, парижанка, что она здѣсь почти безъ знакомыхъ и что все это имѣетъ отношеніе къ Юрію,—привело Муру въ еще большій восторгъ.

Наташа не знала, что думать. Эта дѣвочка говорила, указывая на офицера, „mon mari“—а между тѣмъ трудно было представить себѣ, что она замужемъ. Восторженной любезности ея она тоже не понимала. Адреса Юрія она

еще такъ и не узнала. „Мужъ“ офицеръ стоялъ хмуро и молчаливо.

— Да, да, онъ переѣхалъ,—заболтала Мура, когда Наташа осмѣлилась вновь спросить о Юріи.—То-есть не совсѣмъ переѣхалъ, но больше живетъ на... на другой своей квартирѣ. Я не помню точно гдѣ, вотъ бѣда! И „mon mari“ навѣрно не помнитъ.

Тутъ она бросила на Левковича значительный взоръ: молчи, дескать! И продолжала:

— Но если mademoiselle будетъ такъ любезна... мы живемъ въ двухъ шагахъ... вотъ здѣсь, этотъ переулокъ... mademoiselle зайдетъ къ намъ, выпьетъ чашку чая... И я дамъ самый точный адресъ.

Наташа растерялась, не знала, какъ ей къ этому отнестись. Но Мура прибавила вдругъ:

— Да у насъ даже есть номеръ его телефона! Мы можемъ вызвать его по телефону!

Какъ ни странно это все было, даже подозрительно,— Наташа рѣшилась. Все равно! Ужъ слишкомъ тяжко ждать.

Взяла себя въ руки. Опять сдѣлалась веселой француженкой. Мура увлекла ее, смѣясь, за собою. Разспрашивала, сколько словъ знаетъ она по-русски и вывѣдывала насчетъ Юрія.

Саша Левковичъ молчаливо слѣдовалъ за ними. Онъ очень скучный былъ послѣднее время.

ДВѢНАДЦАТАЯ.

Забава.

— Вотъ, пожалуйте, какъ разъ по телефону васъ спрашиваютъ,—сказалъ швейцаръ Двоекурову, когда тотъ спускался по лѣстницѣ.

Юрій терпѣть не могъ этихъ телефонныхъ вызововъ. Особенно изъ своей василеостровской квартиры, гдѣ телефонъ былъ внизу. И швейцару запретилъ разъ навсегда его тревожить. Но теперь ужъ все равно, идетъ мимо.

Лѣниво взялъ трубку.

— Ну, кто тамъ?

— Ха, ха, ха! Нельзя ли повѣжливѣе! C'est moi, Moura.

Юрій сдѣлалъ досадливое движеніе.

— Вы, Мура? Что такое? Саша просилъ что-нибудь сказать?

— Ахъ, Боже мой, почему Саша! Я сама имѣю вамъ нѣчто сказать!

— Что же?

— Сейчасъ. Не будьте нетерпѣливы. Comme il est grincheux!

— Я занятъ, Мура, я ухожу.

— Нѣтъ, нѣтъ! А если уходите, то пріѣзжайте къ намъ. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ! Здѣсь вамъ сюрпризъ. M-elle Thérèse у насъ. Для нея-то я вамъ и звоню. Ей необходимъ вашъ адресъ. А на письма вы не отвѣчаете.

— Какія письма? Какая Тереза?

— Ахъ, Боже мой! Очаровательная Тереза, которая стоитъ около меня и жаждетъ васъ видѣть. Желала бы проникнуть въ нашъ разговоръ, но ничего не понимаетъ. Да пусть сама говоритъ!

Слышно было французское тараторенье Муры, и затѣмъ другой голосъ, показавшійся Юрію чуть-чуть знакомымъ, сталъ говорить, тоже по-французски, о какихъ-то письмахъ на Фонтанку, о свиданіи, о прежнемъ времени...

— Извините, я васъ не знаю...

Ему послышалось отчаяніе въ голосѣ говорившей, хотя болтала она скоро и веселыя вещи. И такъ, будто онъ

давно узналъ ее и очень радъ встрѣтиться съ m-elle Thérèse.

„Мурка, очевидно, слушаетъ,—подумалъ Юрій.—Тутъ что-то не то“. И сказалъ по-русски:

— Да вы не она? Васъ просто стѣсняютъ? Вы понимаете?

— Mais oui, mais oui,—радостно зашелестѣло въ отвѣтъ.

— Вы сейчасъ у Левковичей?

Опять облегченный французскій отвѣтъ.

— Такъ подождите, я сейчасъ пріѣду. Тамъ видно будетъ. Ваше имя Thérèse Duclos?

Онъ бросилъ трубку и вышелъ изъ подъѣзда. Мысли его были за сто верстъ отъ Наташи, поэтому онъ и не узналъ ея голоса. Въ чемъ дѣло? Любопытство разгорѣлось, было весело.

Онъ давно не былъ у графини, а туда, очевидно, эта фальшивая француженка и писала. Заѣхать, развѣ, за письмомъ. Не стоитъ. Такъ интереснѣе.

И вдругъ перестало быть весело. Пришло въ голову, что это не какое-нибудь забытое любовное приключеніе, а опять эти старыя „дѣла“. Ну, конечно. Какъ онъ сразу не догадался! Просто потому, что не думалъ о нихъ давно. Переодѣванья, скрыванья... Только все-таки кто же это? И почему Левковичи? И онъ, Юрій, зачѣмъ понадобился?

Ну что жъ дѣлать. И Юрій улыбнулся. Съ ними такъ скоро не распутаешься. Да и они недурные люди. Жаль не помочь, коли къ случаю придется.

Подъѣзжая къ дому Левковича, Юрій взглянулъ на часы. Собственно онъ торопился въ другое мѣсто. Ну, на десять минутъ. Только взглянетъ на эту загадочную знакомку.

Мура принесла Левковичу хорошее приданое, жить они могли недурно. Однако вся квартира была какая-то безалаберная, безпорядочная, все новое уже казалось старымъ.

Кушетки и диваны, на которыхъ валялась Мура—яркіе, глупые, подушки взлохмоченныя; нельзя было понять, живетъ ли тутъ кокотка или пять человѣкъ дѣтей.

Юрій хотѣлъ пройти къ Сашѣ въ кабинетъ, но изъ столовой вылетѣла раскраснѣвшаяся Мура.

— Ага, прилетѣли, небось! Идите, идите, скорѣе! Она—прелесть, надо признать! Мы уже подружились. Только о васъ она ничего толкомъ не разсказываетъ.

И Мура, ребячливо шумя, тянула его за рукавъ.

Вошелъ въ столовую, взглянулъ быстро—увидѣлъ стройную фигуру, старающееся улыбаться смуглое лицо подъ громадной шляпой, свѣтлые, точно пустые глаза,—и сейчасъ же узналъ, кто это. Мало того: даже какъ будто понялъ, почему на ней такая шляпа, почти догадался, зачѣмъ она здѣсь и зачѣмъ онъ, Юрій, ей нуженъ.

Опять надо чужими дѣлами заниматься. Ну скорѣе кончить. Ничего труднаго и серьезнаго онъ дѣлать для нея не будетъ. Лучше пусть и не требуетъ.

Началась болтовня. Юрій, глядя въ Наташино лицо, сталъ бояться, чтобы она себя не выдала. А ему не хотѣлось объясняться съ Левковичами. Особенно Мура его раздражала. И надо же, такая глупая случайность! Увезти, что ли, Наташу съ собой? Нѣтъ, Мура еще хуже пристанетъ.

— А Саши нѣтъ дома?—спросилъ онъ вскользь.

— Дома! Сейчасъ его притащу!

И Мура выскочила изъ комнаты.

Въ ту же секунду Наташа быстро наклонилась къ Юрію и прошептала:

— Вы будете у меня сегодня?

— Сегодня... не могу.

— Завтра?

— Постараюсь... утромъ. Но не обѣщаю. Очень трудно завтра.

— Боже мой!

Наташѣ это казалось несчастьемъ. Неизвѣстно почему. Вѣдь ждала же она цѣлую недѣлю. Но, быть можетъ, оттого и не могла больше ждать ни дня.

— Вы знаете адресъ Михаила?

— Я? Нѣтъ, не знаю.

Она поблѣднѣла и вдругъ совсѣмъ потерялась. Слышны были раскаты Муринаго голоса вдали. Сейчасъ, конечно, придетъ.

Юрій, между тѣмъ, соображалъ, что ему дѣлать съ Наташей, какъ помочь дѣлу. Подумалъ еще—и вдругъ веселая, почти шаловливая мысль пришла ему въ голову. Какой день завтра? Суббота? Отлично.

Онъ, улыбаясь, кивнулъ Наташѣ головой. Она не поняла, но ободрилась и ждала.

— Здравствуй, милый,—говорилъ Юрій Левковичу.—Ты былъ занятъ? Мурочка тебѣ помѣшала? Я тоже занятъ, сейчасъ ухожу. Только вотъ хочу сейчасъ написать у васъ рекомендательное письмо для этой очаровательной моей пріятельницы. Два слова, нужный намъ человѣкъ какъ разъ сегодня принимаетъ. Мурочка, можно у васъ?

— Конечно. Кому? Кому?

Она вскочила и побѣжала впередъ. Юрій пошелъ за ней.

— Много будете знать—скоро состарѣетесь.

Наташа осталась вдвоемъ съ Левковичемъ. Молчала. Ей почему-то непріятно было притворяться передъ нимъ, сыпать фальшивыя французскія слова. И устала отъ глупой комедіи, и жалко было этого нахмуреннаго, блѣднаго человѣка съ добрымъ лицомъ. Онъ казался не то больнымъ, не то глубоко опечаленнымъ, страдающимъ. Совѣстно лгать передъ нимъ.

Явилась вертлявая Мура. Вскорѣ вошелъ и Юрій, держа въ рукѣ незапечатанный конвертъ.

— Вотъ письмо. Вы его прочтите. Туда же я вложилъ

инструкціи вамъ, когда и какъ удобнѣе отправиться. Еще запутаетесь! Завтра или послѣзавтра непремѣнно буду у васъ. А теперь, простите, бѣгу! И такъ опоздалъ!

M-elle Duclos разсыпалась въ благодарностяхъ, мгновенно спрятала письмо и тоже встала, торопясь уйти.

Входили новые гости: толстый офицеръ и молодой непріятно красивый штатскій, котораго Мура громко привѣтствовала.

— Борисовъ! Достали ложу?

Саша Левковичъ вышелъ за Юріемъ въ прихожую.

— Кто сей?—морщась спросилъ Юрій.

Левковичъ не отвѣтилъ, только повелъ плечомъ.

— Приходи ко мнѣ, Саша, пожалуйста. Поговоримъ.

— Приду. Давно собираюсь. Разъ ужъ изъ дому вышелъ—воротился. Какъ съ тобой говорить, когда и самому себѣ не знаешь, что сказать.

— Ничего. Приди, милый. Я вечера нарочно буду дома сидѣть, до двѣнадцати, тебя ждать. Только въ ту пятницу занятъ, обѣщалъ на одно засѣданіе общества „Послѣдніе вопросы" пойти. Погляжу, можетъ, рѣчь скажу.

— Да? Гдѣ это?—думая о другомъ, спросилъ Левковичъ.

Юрій назвалъ адресъ.

— Нѣтъ, ты не жди. Застану, такъ застану. Ты нарочно не жди.

Юрій посмотрѣлъ на друга съ досадливымъ сокрушеніемъ, крѣпко пожалъ ему руку и ушелъ.

ТРИНАДЦАТАЯ.

Свиданіе.

Литта жаловалась брату напрасно: въ угрюмомъ домѣ, гдѣ до нея никому не было дѣла, она жила свободнѣе, чѣмъ

живутъ иныя дѣвушки. Требовалось только приспособиться къ графинѣ, слушаться ея въ мелочахъ, и это было не трудно. Никто не интересовался Литтой; съ отъѣзда послѣдней гувернантки она цѣлые дни могла быть одна, когда не приходили учительницы и учителя. Книгъ у Юрія въ комнатѣ было довольно всякихъ.

За уроками внучки графиня тоже не слѣдила. Когда брали новаго учителя, графиня посылала на первый урокъ свою скромную приживалку,—тѣмъ дѣло и кончалось.

Занятія Литты съ Михаиломъ сложились очень хорошо, хотя немного неожиданно. Михаилъ являлся утромъ, скромно одѣтый, проходилъ въ классную, сидѣлъ ровно столько, сколько было нужно. Никакихъ постороннихъ разговоровъ не происходило. Литта оказалась очень способной къ математикѣ—и они оба искренно увлеклись занятіями.

У Литты бывали минуты,—хотѣлось заговорить съ нимъ, спросить... и она робѣла. Такъ далеко, и холодно, и чуждо глядѣли синіе глаза.

Въ это утро они занимались рѣшеніемъ новой, трудной для Литты, задачи. Классная, большая пустая комната, выходила окнами на дворъ. Сквозь опущенныя бѣлыя шторы солнце матово желтило воздухъ.

Дверь пріотворилась. Пожилая горничная въ бѣломъ чепчикѣ поманила Литту.

Дѣвочка нетерпѣливо пожала плечами.

— Сейчасъ!

Немного удивленная вышла въ свѣтлый коридоръ.

— Отъ Юрія Николаевича,—тихо сказала горничная.

Въ домѣ графини всѣ говорили тихо. Горничная Гликерія, степенная и вымуштрованная, такъ любила Юрія, что даже имя его произносила громче обыкновеннаго.

— Записочка вамъ отъ нихъ. И барышня тамъ ждутъ отвѣта.

— Какая барышня? Отъ Юрочки?

Литта поспѣшно разорвала конвертъ. Всего нѣсколько строкъ;

„Улитка, прими сейчасъ же подательницу этого письма. Прими въ классной, если у тебя учитель мат.—А тамъ видно будетъ. Она хорошая. Сестра. Буду скоро. Цѣлую, дѣтка. Записку порви“.

— Гликерія... Пожалуйста... Онъ пишетъ... Проводите эту барышню ко мнѣ въ классную. Тамъ учитель,—ничего... На минутку. Нѣтъ, нѣтъ,—прибавила она, увидѣвъ, что Гликерія смотритъ обезпокоенно, — Юрій здоровъ, самъ пріѣдетъ, онъ только ее просилъ передать мнѣ двѣ книжки...

Вбѣжала назадъ въ классную. Разрывая письмо на мелкіе кусочки, растерянно заговорила:

— Это братъ Юрій... Онъ всегда такъ, ничего не объяснитъ толкомъ... Но ужъ, вѣрно, нужно. Она сейчасъ сюда придетъ...

— Вы заняты?—сказалъ Михаилъ, поднимаясь.—Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ, она должна сюда именно прійти...

— Но я не могу...

Наташа уже входила. Скромно одѣтая, въ черномъ. Матовый солнечный свѣтъ желтилъ воздухъ.

Нѣсколько секундъ они съ Михаиломъ молча стояли другъ передъ другомъ. Литта, взволнованная, ничего не понимающая, глядѣла на нихъ обоихъ.

Неизвѣстно, на что бы они рѣшились, столкнувшись такъ нежданно въ чужомъ домѣ, оба осторожные, оба потрясенные,—если бы Литта не сказала наивно, не зная сама, что говоритъ:

— Юруля написалъ, чтобы въ классную... Что сестра...

— Такъ вы знаете?—быстро обернулась къ ней Наташа.

И сейчасъ же подошла къ Михаилу, крѣпко и безмолвно обняла его.

— Это мой учитель математики... Мы занимаемся математикой...—продолжала, спѣша, Литта.

Она уже поняла чутьемъ, что надо объяснять, что Юрій, по своему обыкновенію, устроилъ безъ лишнихъ словъ неожиданность.

Все-таки Наташа не знала, какъ себя держать, что говорить при дѣвушкѣ. Громадная радость видѣть Михаила вдругъ куда-то спряталась. Ну вотъ, она хотѣла—ихъ столкнули лбами. А дальше?

Записка Юрія къ Наташѣ была еще короче Литтинаго письма: „Завтра въ 11 часовъ подите съ этимъ письмомъ къ моей сестрѣ, скажите, что ждете отвѣта, что вы отъ меня. Одѣньтесь просто, говорите по-русски“.

И все. Она, не разсуждая, исполнила. Теперь какъ же? Выручила опять Литта.

Схватила свои тетради. Заторопилась.

— Я пойду въ комнату Юрули. Тамъ эту задачу еще посмотрю. Это рядомъ. А сюда никто не придетъ. Я сейчасъ.

Наташа взяла дѣвочку за руку и вдругъ неожиданно поцѣловала. Литта вся вспыхнула отъ радостнаго волненія, отъ внезапной увѣренности, что эта „сестра“—другъ. И тихонько выскользнула за дверь.

Наташа и Михаилъ остались одни.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ чемъ грѣхъ.

Юрій не думалъ быть свободнымъ въ это утро. И ночевалъ не дома. Однако случилось, что около половины дві-

надцатаго онъ былъ неподалеку отъ дома графини; рѣшилъ заѣхать на минутку, посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Интересно, какъ справилась сестренка съ его запиской...

У него и тутъ свой ключъ.

Вошелъ незамѣтно въ свою комнату. Удивился. Сидѣла Литта, тихо, какъ мышь, съ красными отъ волненія ушами, пристально глядѣла въ книгу. Вздрогнула, когда дверь отворилась.

— Ахъ, Юруля! Ну, слава Богу!

Спѣша, запинаясь, разсказала ему все. И что они въ классной... И ужъ давно... Она не смѣетъ туда пойти... А скоро завтракъ...

Юрій нахмурился.

— Да... Лучше пусть они какъ-нибудь вечеромъ... Чего ты волнуешься? Я сейчасъ устрою.

И онъ пошелъ въ классную.

Черезъ пять минутъ вернулся, съ Наташей.

У Наташи блестѣли глаза и губы крѣпко были сжаты.

— Это моя сестренка,—сказалъ Юрій весело.—Она славная. Вы познакомились?

— Я ужъ ее полюбила...

И Наташа, свѣтясь внутреннею радостью и новой заботой, опять привлекла къ себѣ дѣвочку.

— Хорошо, а теперь, Улитка, маршъ въ классную, отпусти учителя и приходи ко мнѣ. Простилась съ Наташей?

— Ахъ, до свиданья! Вы уходите? Уходите скорѣе! Такъ васъ Наташей зовутъ?

— Не знаю,—улыбаясь, сказала Наташа.

— Да, да... Я понимаю... Только бы мы увидѣлись еще...

Въ классной она заторопилась что-то сказать Михаилу и ничего не сумѣла. Онъ глядѣлъ на нее съ нѣжной добротой и улыбался.

Литта овладѣла собой и сказала дѣловито:

— Ваша сестра, вѣрно, не здѣсь живетъ...

— Не здѣсь...

— Такъ вамъ съ ней у Юрія очень удобно видѣться. Особенно вечеромъ. Никого не бываетъ...

— Мы обо всемъ сговорились,—сказалъ Михаилъ.

Простился и ушелъ.

Въ комнатѣ Юрія Наташи уже не было. Юрій о чемъ-то думалъ.

— Литта,—сказалъ онъ вошедшей сестрѣ,—ты, сдѣлай милость не...

— О, развѣ я не понимаю!

— Не то, а надо тебѣ знать, что я теперь въ ихъ дѣла не вхожу, не интересуюсь, и тебѣ не совѣтую. Но, впрочемъ, какъ хочешь. Если я позволяю имъ устраивать у меня свиданія и говорю съ ними при случаѣ, то лишь потому, что помочь имъ тутъ могу, и мнѣ это легко. Не увлекайся и не дѣлай неосторожностей. Вредить другимъ можно лишь въ крайнемъ, въ самомъ послѣднемъ случаѣ.

Литта смотрѣла на него широкими глазами.

— Вредить? Да развѣ я не знаю? Никогда нельзя!

— Никогда отъ глупости, никогда отъ неосторожности. Никогда для собственнаго удовольствія. Но вотъ единственный случай: если приходится выбирать между другимъ и собой,—то надо, разумно, неизбѣжно повредить другому, а не себѣ.

— О, Юра! А если маленькій вредъ себѣ?

— Никакого. Вредъ другому—это непріятная глупость, вредъ себѣ—это, какъ бы сказать? Ну грѣхъ, что ли...

— Я не понимаю...—начала Литта рѣшительно, но Юрій перебилъ ее:

— Бросимъ. Ты достаточно поняла. Будь осторожна. А такихъ крайнихъ положеній, гдѣ можно впасть въ грѣхъ

при удачѣ легко избѣгать, и слѣдуетъ. Прощай, милая, я завтракать не останусь.

ПЯТНАДЦАТАЯ.

Сашины дѣла.

Левковичъ все не пріѣзжалъ повидаться съ Юріемъ. Зато вертлявая и хорошенькая Мурочка весело прилетѣла къ Литтѣ, не обращая никакого вниманія на кислую мину графини. Опять утащила Литту въ классную.

— Душечка, вы такъ все и сидите дома? Какая весна! Ужъ на островахъ все зелено. Я вчера туда ѣздила, вотъ было весело! Скажите брату, чтобы онъ съ нами поѣхалъ и васъ взялъ.

— Я никуда не ѣзжу,—отозвалась Литта угрюмо.

— Да плюньте вы на эту старуху! Что она васъ взаперти держитъ! Юрулька не въ васъ, онъ бы не высидѣлъ! Ахъ, какой онъ смѣшной! Вы подумайте...

И она подробно разсказала случай съ красивой m-lle Duclos.

— Преизящная! Удивительнѣе же всего, что Юрій уже успѣлъ ее куда-то спрятать. Я черезъ два дня пошла въ гостиницу,—преинтересная француженка!—вообразите, говорятъ: съѣхала и адреса не оставила!

— Почему же вы думаете, что Юрій?..

— Да онъ же ей какія-то письма у насъ писалъ, давалъ... рекомендательныя, что ли... Обѣщалъ потомъ пріѣхать къ ней...

— Потомъ? Письма?

Литта задумалась и неосторожно прибавила:

— А какіе у нея глаза?

— Вы ее видѣли? Красивые глаза, свѣтлые очень.

— Гдѣ жъ я видѣла? Я только не понимаю, при чемъ тутъ Юрій. Ну и уѣхала. Да и вы при чемъ?

Мура засмѣялась, но вдругъ сдѣлала печальное лицо.

— Боже, какіе вы всѣ несносные, скучные! Вотъ вамъ бы за моего мужа выйти, кузиночка! Онъ тоже вѣчно насупленный, вѣчно съ вопросами... Тó я не такъ, это не такъ... Претяжелый характеръ!

Литта удивленно посмотрѣла на нее.

— У Саши? У Саши тяжелый характеръ?

— Ну да! Еще бы не тяжелый.

Мура соскочила съ класснаго стола, гдѣ сидѣла, присосѣдилась къ Миттѣ, на широкое старое клеенчатое кресло, и начала полушопотомъ, какъ барышни секретничаютъ:

— Онъ невыносимо ревнивый, глупо ревнивый. Не могу же я въ траппистки записаться? Я ужъ такая, какъ есть. Я не виновата, что мнѣ съ нимъ скучно.

Литта слушала ее въ неизъяснимомъ ужасѣ. Скучно! Зачѣмъ же она замужъ выходила?

— И главное,—продолжала Мура,—я такой человѣкъ, что пусть лучше онъ меня не доводитъ до крайности. Все ему выскажу и уйду. Очень нужно.

— Какъ уйдете? Да развѣ вы его не любите?—прошептала оцѣпенѣвшая Литта.

— Люблю, люблю... Не люблю... Ахъ, Боже мой...

Мурочка разсѣянно и нетерпѣливо прошлась по комнатѣ.

— Почемъ я знаю? Пусть не надоѣдаетъ. И такое непониманіе! Меня надо понимать... Вотъ Юрій—это другое дѣло...

— Юрій понимаетъ?

— Коли я плоха—какая есть! Не я себя такой сдѣлала! Ну и нечего теперь меня учить. Хуже будетъ.

Безмолвно вошла Гликерія. Графиня рѣшила, что непріятная гостья слишкомъ засидѣлась у внучки.

— Не пойду я къ старухѣ,—заявила Мура, когда горничная вышла.—Мнѣ еще надо въ одно мѣсто... А вы, пожалуйста, Литта, Юрію этого нашего разговора не передавайте. Я такая горячая. Наболтаю всегда... А онъ...

— Такъ отчего же...—начала Литта.

— Оттого! У Юрія послѣднее время всегда я виновата! Забота, подумаешь, братецъ! Ну, я не очень боюсь!

Лицо у нея, однако, было испуганное. Литта твердо рѣшила все разсказать брату и пошла провожать гостью.

— А француженка прелестная,—болтала Мура въ передней.—Похожа немножко на m-lle Léontine, мою послѣднюю гувернантку. Только красивѣе. Ахъ, Боже мой, вотъ и Юрій Николаевичъ!

Юрій, дѣйствительно, входилъ въ переднюю. Литта испугалась: ну, теперь эта Мурочка ни за что не уйдетъ! Однако Юрій понялъ положеніе.

— Вы уходите, Мурочка? До свиданія. Спѣшу къ графинѣ.

Раздосадованной Мурѣ ничего не оставалось, какъ тоже выйти.

А Литта побѣжала за братомъ, нагнала его въ коридорѣ, спѣша, разсказала о Мурѣ и неожиданно прибавила:

— А эта француженка, Юрій, это...

Юрій разсердился:

— Какое тебѣ дѣло? Какъ это скучно и глупо! Неужели нельзя меня оставить въ покоѣ? Просто жить нельзя въ Петербургѣ! На Островъ ходятъ, ноютъ, сюда приду—и здѣсь то же самое!

Литта поблѣднѣла.

— Ты несправедливъ, Юра.

Онъ уже улыбался.

— Да, я несправедливъ. Прости, сестренка. Это Сашины дѣла меня растревожили. Что жъ, самъ онъ виноватъ.

Задумался, потомъ прибавилъ:

— Я сегодня обѣдаю у васъ. Послѣ останусь, отдохну хоть немного.

ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Самоубійца.

Отдохнуть не пришлось.

Чуть только Юрій послѣ обѣда прилегъ на турецкій диванъ въ своемъ просторномъ кабинетѣ, въ дверь постучали.

— Студентъ васъ спрашиваетъ,— зашептала Гликерія.— Ужъ онъ разъ шесть приходилъ, пока васъ не бывало. Прикажете отказать?

— Какой еще студентъ?

— Длинный такой, блѣдный. Очень проситъ.

Юрій махнулъ рукой.

— Ну, хорошо... Все равно. Позовите.

Вошелъ Кнорръ, мѣшковатый, темный, какъ никогда, съ потерянными глазами.

— Я къ тебѣ... по дѣлу,— началъ онъ, запинаясь.

Чувствовалъ, что Юрій ему не радъ.

— Опять по дѣлу?

— Да... А вѣрнѣе такъ, просто... Самъ не знаю, зачѣмъ. Искалъ тебя давно, а зачѣмъ — не знаю...

Юрій взглянулъ на него остро.

— Ну, садись, я велю чай подать.

Кнорръ сѣлъ.

— Не надо чаю... Я такъ...

— Все равно. Съ кѣмъ видался послѣднее время?—спросилъ Юрій тихо, продолжая приглядываться къ гостю.

— Видался? Ни съ кѣмъ. Одинъ былъ. Всѣхъ потерялъ. Точно всѣ сгинули. Точно сторонятся отъ меня. Даже Яковъ этотъ... ты, впрочемъ, его не любишь. Я нисколько не жалуюсь, я и прежде близости не искалъ. А теперь я такъ утомленъ.

Юрій ходилъ по комнатѣ, морщась отъ непріятнаго чувства.

— Ну, что я съ тобой буду дѣлать? — сказалъ онъ, вдругъ останавливаясь. — Ты въ такомъ состояніи, что тебѣ слова утѣшенія нужны, за ними ты и пришелъ. А мнѣ слова пустыя противны.

Кнорръ сидѣлъ неподвижно, темный, какъ мертвецъ.

— Вѣдь съ тобой ничего не случилось? Если бъ бѣда стряслась, подумали бы вмѣстѣ... А такъ — чего приходить? Только непріятно смотрѣть.

Кнорръ грубо захохоталъ. Онъ былъ, дѣйствительно, непріятенъ: слишкомъ измученное лицо.

— Ничего не случилось? Все случилось. Вотъ что со мной случилось.

Но Юруля пожалъ плечами, опять прошелся по комнатѣ и сухо сказалъ:

— Тогда уходи, пожалуйста. Я не люблю смотрѣть на несчастныхъ, которымъ не могу помочь. Если бъ у тебя заболѣла мать, я бы помогъ отыскать доктора. Если бъ ты былъ голоденъ, я бы тебя накормилъ. Если бъ ты впутался въ исторію, я постарался бы выручить тебя. Но теперь, ей-Богу, это нелѣпость, что ты ко мнѣ пришелъ. Надумалъ себѣ несчастіе и хочешь показывать его? Уйди, сдѣлай милость.

Кнорръ всталъ. Онъ уже не смѣялся. Весь засутулился, мундиръ точно на вѣшалкѣ, рукава точно пустые.

— Такъ пойду. Прощай.

Юруля остановилъ его за плечо.

— Кнорръ, милый, вѣдь это глупость, больше ничего. Вѣдь у тебя сейчасъ неврастенія. Ты такъ потерялъ себя, что пойдешь и пулю себѣ въ лобъ пустишь. И очень будешь важничать, точно это не величайшая банальность. У тебя нѣтъ одной большой бѣды, но навѣрное было много маленькихъ, и ты усталъ... Ты подожди. Ты отдохни.

Юруля ласково обнялъ его и посадилъ опять въ кресло.

— Вѣдь усталъ? Правда? Тебѣ все не нравится. Все кажется ненужнымъ, скучнымъ... Или даже отвратительнымъ? Такъ?

Кнорръ покорно подался въ креслѣ. Слушалъ — или не слушалъ. Вдругъ поднялъ голову.

— Да, напрасно я пришелъ къ тебѣ сегодня,— сказалъ онъ кротко.— Да, усталъ. Да, можетъ, и умру сегодня. А пришелъ такъ. Вспомнить. Можетъ Хесю увидишь. Она тебя любила тогда.

Юруля встрепенулся.

— Ты знаешь. Она мнѣ не нравилась. Я ее жалѣлъ и боялся. Глупъ былъ. Нечего было ни жалѣть, ни бояться.

— А что же? — усмѣхнулся Кнорръ.— Впрочемъ, все равно. Ну, я любилъ Хесю. Ну, она тебя любила. Что мнѣ? Я и не знаю, гдѣ она теперь. И ужъ давно должно быть не люблю.

У Юрули мелькнула какая-то мысль.

— Такъ ты не знаешь гдѣ она? И ничего не знаешь? А какъ же, помнишь, тогда, въ саду, просьбу ты передавалъ?

Кнорръ покачалъ головой.

— Говорю же, никого съ тѣхъ поръ не видѣлъ. Я, кажется, и изъ комнаты не выходилъ.

— Ну, вотъ что, Кнорръ,— заговорилъ Юруля оживлен-

но.— Все это ты успѣешь, и убить себя успѣешь, если захочется. А сегодня сдѣлай мнѣ удовольствіе. Поѣдемъ вмѣстѣ.

Кноррь поднялъ удивленные угрюмые глаза.

— Куда это? Сейчасъ?

— Ну да, сейчасъ. Для меня. Сдѣлай мнѣ удовольствіе.

— Не понимаю. Да хорошо. Мнѣ все равно.

СЕМНАДЦАТАЯ.

Портниха.

Лизочка была въ нервахъ.

Она считала, что это такъ и слѣдуетъ, что необходимо иногда быть въ нервахъ.

Нынче она цѣлый день ругалась съ Вѣркой, по телефону поругалась съ дядей Воронкой, не позволила ему пріѣхать. Въ разна́станномъ капотѣ лежала въ гостиной, подъ граммофономъ, и злобно скучала.

На одномъ окнѣ штора была спущена, и яркая ночь неярко входила въ комнату.

Юрій, пріѣхавъ съ Кнорромъ, церемонно позвонилъ.

— Дома. Онѣ не такъ здоровы,— сказала жеманная Вѣра, взглянувъ на студента, который шелъ за Юріемъ.

Юрій былъ веселъ.

— Ну, вотъ отлично, что дома. А больна — мы вылѣчимъ,— смѣялся онъ, бросая пальто на руки Вѣры.

Лизочка, собственно, дулась на Юрулю. Давнымъ-давно не былъ. Но все-таки обрадовалась.

— Что это васъ не видно,— протянула она.— Являетесь вдругъ. А кто съ вами? Кноррушка!

— Прости, Лизокъ, милый,— весело сказалъ Юрій.— Я знаю, ты у меня умница. Что, твоя портниха дома?

— Портниха,— протянула Лиза разочарованно,— вы къ портнихѣ? Такъ бы и говорили. Когда же она вечеромъ дома бываетъ?

Но, увидавъ, что Юрій сдвинулъ брови, поспѣшно прибавила:

— Должно быть, еще не ушла. Я разговоръ слышала.

— Пошлю Вѣру купить чего-нибудь къ чаю,— сказалъ Юрій и вышелъ изъ комнаты.

Кноррь и Лизочка остались вдвоемъ.

— Это васъ, что ли, онъ къ портнихѣ привезъ?— спросила, наконецъ, Лизочка, утомленная молчаніемъ Кнорра.

Не очень любила его.

— Я не знаю,— съ усиліемъ отозвался Кноррь.

— Не знаете? Юрка такой шалый. Никогда не знаешь, кого онъ куда везетъ и зачѣмъ. Да вы какой-то больной?

— Нѣтъ, я такъ,— сказалъ Кноррь и замолкъ.

Въ дверяхъ, въ ночной яркости, показалась маленькая женщина, черноголовая, большелицая и блѣдная; на ней было темное платье, вязаный диконькій платокъ на плечахъ.

— Вотъ, Кноррь, Марья Адамовна хочетъ съ вами поговорить,— сказалъ Юрій, который тоже вошелъ вслѣдъ за маленькой женщиной.— Вы вѣдь знаете его? Узнали?

Марья Адамовна подошла ближе къ студенту и крѣпко пожала руку.

— Лизокъ... Ну, пусть студентъ съ портнихой поговорятъ. А ты поди пока сюда!— продолжалъ Юрій.—Иди, мы чай приготовимъ.

Довольная его ласковостью, Лизочка забыла о своихъ нервахъ и убѣжала за Юріемъ.

Въ душной гостиной пахло какими-то противными пыльными духами.

Марья Адамовна, неслышно ступая, подошла ко второму окну и откинула занавѣсь. Стало свѣтлѣе и сѣрѣе.

— Вы не унывайте, Норикъ,— сказала она тихимъ, ровнымъ голосомъ и опять взяла его за руку.— Говорятъ, вы унываете. Не надо. Я васъ помнила. Совсѣмъ еще, вотъ, недавно говорила о васъ. Я бы васъ нашла.

Кнорръ прокашлялся.

— А зачѣмъ я вамъ нуженъ? И какъ вы здѣсь, Хеся?

— Да ужъ нужны. Главное, не падайте духомъ. Вонъ вы какой. Пожалуйста, будьте бодрѣе. И мнѣ не весело, а раскисать неблагородно.

— Почему вы здѣсь?

Хеся грустно улыбнулась и замигала глазами. Глаза у нея были большіе, съ длинными рѣсницами; улыбаясь, она всегда мигала часто-часто.

— Вы же знаете, мнѣ надо было. Двоекуровъ устроилъ меня портнихой къ этой... госпожѣ.

Кнорръ вспыхнулъ.

— Какъ онъ смѣлъ?

— Оставьте, оставьте,— зашептала Хеся.— Пусть, это хорошо. Иначе нельзя. Я скоро уѣду. А иначе нельзя было.

Въ эту минуту въ передней слабо позвонили.

— Мнѣ сейчасъ нужно уходить,—сказала Хеся поспѣшно.— Дайте мнѣ слово, Кнорръ, обѣщайте мнѣ...

— Что?

— Что вы не будете такой, что вы ободритесь. Опять съ нами будете...

— Развѣ я могу помочь? Да и хочу мало.

— Ну, хоть для меня,— сказала Хеся печально и равнодушно.— А Яковъ совсѣмъ недавно говорилъ о васъ.

Звонокъ повторился. Хеся замолкла, глядѣла тревожно.

Слышно было, какъ Юрій прошелъ въ переднюю и отворилъ дверь.

Отворилъ, тотчасъ же сказалъ удивленно и грубо:

— Что это? Зачѣмъ вы сюда?

Отвѣтили ему совсѣмъ тихо.

Голосъ Юрія настойчиво повторилъ:

— Да что вамъ отъ нея нужно?

— Два слова. Необходимо,— съ нетерпѣніемъ, хриповато сказалъ пришедшій.

Хеся бросилась въ переднюю, шепнувъ Кнорру:

— Это Яковъ. Что-нибудь случилось.

На порогѣ, подъ рожкомъ электричества, стоялъ элегантно одѣтый молодой человѣкъ, съ противнымъ, бритымъ, зеленоватымъ лицомъ. Онъ не то улыбался, не то гримасничалъ, обнажая рѣдкіе зубы.

— Да вотъ же она! — воскликнулъ онъ, увидавъ Хесю.— Барыню мнѣ, пожалуй, и не нужно.

Обернулся къ Юрію.

— А вы что же здѣсь распоряжаетесь? Я и не зналъ, что вы хозяинъ.

— Во всякомъ случаѣ — хозяинъ положенія, — отвѣтилъ Юрій холодно.—Говорите ей ваши два слова и затѣмъ убирайтесь къ чорту!

Яковъ любезно раскланялся. Хеся зашептала:

— Двоекуровъ, пожалуйста, ничего, онъ сейчасъ уйдетъ... Яковъ, что случилось?

Юрій повернулся и вышелъ, захлопнувъ за собой дверь.

— Вотъ какъ! И Кноррь здѣсь,—сказалъ Яковъ, успѣвшій заглянуть въ гостиную.—Отлично, голубчикъ. Чего это вы пропали? Хеся, а я пришелъ сказать, чтобъ вы сегодня туда не ходили, куда собирались. Ловко засталъ. Надо будетъ въ другое мѣсто поѣхать. А разъ уже Кноррь здѣсь, такъ и его можно прихватить.

— Куда?—спросила Хеся.

Яковъ сказалъ.

— Хорошо. Идите съ Кнорромъ. Я выйду по черному ходу.

И она исчезла.

Кноррь молча взялъ фуражку.

— Мѣстечко, тоже,—проворчалъ Яковъ сквозь зубы.—И этотъ субъектъ еще важничаетъ.

— Какъ ты могъ, Яковъ,—началъ Кноррь,—чтобъ Хеся...

— Съ паршивой собаки хоть шерсти клокъ. Ну, да ладно. Идемъ.

Они ушли.

А въ столовой Лизочка шептала Юрію:

— Знаешь, я все для тебя, а сама боюсь до смерти. Не иначе, какъ вляпаешься съ ними въ исторію. Мнѣ что, наплевать! А я за тебя дрожу. Ночью проснусь, и то дрожу. Убери ты отъ меня эту жидовку. Ну ихъ! Пусть пропадаютъ сами, людей чтобъ только не впутали.

Юруля нѣжно обнялъ Лизу и поцѣловалъ ея кукольную головку.

— Вѣрно, умница моя! Мнѣ и самому они надоѣли. Пристаютъ, пристаютъ, я отъ жалости и глупѣю. Жидовочку мы отъ тебя уберемъ, коли сама не уберется. Она ничего, жалкая только очень. Кноррь тоже... Ну, и пусть ихъ...

Онъ всталъ и зажегъ электричество. На столѣ былъ приготовленъ чай, стояло вино и тарелка съ орѣхами.

— А Вѣрка-то пропала!—закричала Лизочка.—Самоваръ, вѣрно, вскипѣлъ. Пойдемъ, сами его изъ кухни притащимъ!

Но Вѣра уже входила съ закусками.

Сейчасъ будетъ самоваръ. Лизочка и Юруля мирно станутъ пить чай, дома, точно баринъ съ барыней. Никуда не поѣдутъ, за разговорами время пройдетъ. А потомъ Лизочка возьметъ Юрулю къ себѣ въ спальню и до самаго утра не отпуститъ. Онъ у нея не ночевалъ давно, съ тѣхъ поръ какъ эта портниха живетъ... Вотъ еще! Очень нужно было стѣсняться!

ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Общія мѣста.

— Наташа, уѣзжай,—опять говоритъ Михаилъ тихо, наклоняясь къ ея плечу.

Она молчитъ, идетъ, не прибавляя шагу, по влажной полевой тропинкѣ.

Только что прошелъ дождикъ, остро, утомительно-грустно пахнетъ весеннее поле, пахнутъ бѣлокурыя березы. Разсѣянно покоится на вершинахъ позднее солнце.

Наташа уже давно не француженка. Она живетъ здѣсь, въ забытомъ дачномъ мѣстечкѣ по Варшавской желѣзной дорогѣ, такомъ забытомъ, что и дачи тамъ всѣ сгнили, развалились и стоятъ, точно послѣ погрома. На берегу рѣчушки есть двѣ-три хибарки, около бѣдной деревни. Въ одной изъ нихъ и пріютилась Наташа, снимаетъ комнатку у вдовой дьячихи.

Сегодня Наташа съ утра ждала Михаила. Онъ пріѣзжалъ уже раза два, они вмѣстѣ бродили по грязному, свѣжему и болотистому лѣсу, а потомъ Наташа провожала брата черезъ поле на полустанокъ.

Меньше всего она ждала, что онъ пріѣдетъ не одинъ. И вдругъ сегодня пріѣхалъ съ Яковомъ и Хесей. Какъ это могло случиться? Зачѣмъ Михаилъ сказалъ имъ, что она здѣсь? Или сами узнали? Въ чемъ дѣло?

Былъ долгій, тяжелый разговоръ. Тяжелый для Наташи, потому что она не хотѣла говорить съ ними такъ, какъ съ Михаиломъ, да и не смѣла при немъ. Какіе они тѣ же! Все тѣ же. Хеся печально мигала длинными рѣсницами. Яковъ держалъ себя такъ, точно они вчера видѣлись. Говорили о Юріи Двоекуровѣ, между прочимъ. Михаилъ въ первый разъ твердо высказался противъ того, чтобы пользоваться его

квартирой, его услугами... Но на грубый намекъ Якова рѣзко возразилъ, что Юрія онъ не боится и подозрѣвать не позволитъ; но хочетъ же просить его дальнѣйшихъ услугъ лишь потому, что Двоекуровъ сознательно съ ними разошелся.

Вспыхнула и Хеся.

— Какъ вы можете, Яковъ! Даже шутя не надо говорить такихъ вещей о Двоекуровѣ! Вы его не знаете.

Яковъ только пожалъ плечами.

— Ваше дѣло. Какъ бы не покаяться.

Теперь они идутъ всѣ четверо на полустанокъ. Хеся и Яковъ впереди. Маленькая Хеся едва поспѣваетъ за Яковомъ, тонконогимъ. Хеся привыкла ходить по городскимъ камнямъ; на полевой дождевой тропинкѣ скользитъ и спотыкается.

А Михаилъ опять печально шепчетъ сестрѣ:

— Наташа, уѣзжай. Вѣдь ужъ все равно.

Легкое покрывало Наташи зацѣпилось за вѣтку и огнистыя солнечныя капли падаютъ ей на голову.

Остановилась, освобождаетъ покрывало.

— А ты?

— Уѣзжай, Наташа. Ты обо мнѣ знаешь... почти все.

— Что я знаю? Ты говорилъ, я слушала. Какъ будто понимала. Но я перестаю понимать. Не то хочешь дѣлать дѣло, не то не хочешь.

— Я жду.

Онъ взялъ ее за руку, и опять они двинулись впередъ, въ полевой тишинѣ.

— Наташа, я тебѣ говорю то, чего почти себѣ не могу сказать. Не думай, тотъ ужасъ невѣрія людямъ, когда мы, какъ потерянные, выслѣживали другъ друга и себя, когда многіе упали и не поднимутся,—то́ я давно пережилъ. Прошло. Осталась еще болѣе крѣпкая вѣра въ правду дѣла и въ пра-

воту погибшихъ. Святой долгъ передъ ними, неизбытный и радостный. Только новый какой-то смыслъ для меня въ прошломъ и въ будущемъ открылся...

Наташа пожала плечами.

— Новый смыслъ... Новый смыслъ... Это общія слова, Михаилъ. Я не виновата, что не понимаю тебя. Общія слова никакихъ дѣлъ не даютъ.

— Ну, а не общихъ словъ у меня еще никакихъ для тебя нѣтъ. Не понимаешь—вѣрь просто. Не понимаешь—оттого я и прошу тебя скорѣе уѣхать. А я—буду ждать.

— Прости, Михаилъ. Договори о себѣ. Скажи только, ты самъ-то для себя знаешь, что надо дѣлать?

— Знаю. И хочу дѣлать, но не могу... съ ними. Люди—старые, Наташа, тѣ же, точно ничего не пережили, точно не открывали глазъ.

— И я старая?—сказала Наташа, усмѣхнувшись.

— Да... И ты... Пойми: насъ разбросало въ стороны; одни ужаснулись, не хотятъ больше ничего, ушли; другіе остались, но они почти и не почувствовали толчка, упрямо и тупо стоятъ въ томъ же болотѣ. Ты—одна изъ ушедшихъ. Оставшіеся хотятъ дѣлать, но они съ головой старые, въ старомъ, значитъ и въ старыхъ возможностяхъ. И вѣдь будетъ, будетъ опять то же!

Поѣздъ длинно, жалобно свистнулъ вдали. Яковъ и Хеся далеко ушли впередъ, едва виднѣлись.

— А я все-таки съ ними,—продолжалъ Михаилъ.—Я плѣнникъ, правду сказалъ Двоекуровъ. Только плѣнникъ не дѣла своего, не вѣры своей,—а плѣнникъ этихъ людей, въ которыхъ я не вѣрю, которые хотятъ дѣлать то же, что я, но безъ моего внутренняго знанія. Можетъ быть, они меня погубятъ, и себя погубятъ, безцѣльно. Но уйти сейчасъ нельзя. И я жду.

Наташа остановилась.

— Михаилъ, уѣзжай! Это тебѣ надо уѣхать! Ты говоришь о внутреннемъ, но вѣдь есть и внѣшнее. Да, это старое, все можетъ повториться. Да, и я имъ не вѣрю... И вотъ вглядись, Яковъ...

— Молчи,—строго сказалъ Михаилъ.—Никуда я сейчасъ не уѣду. И не называй никого. Я увлекся въ догадки и чувства. Не хочу я вѣрить въ безсмысленную гибель. Не бойся, я жду, я не брошусь впередъ слѣпо, но и не пойду назадъ. Сейчасъ—плѣнникъ, но пусть, иначе нельзя, надо жить до конца.

Наташа прибавила шагу. Въ перелѣскѣ было совсѣмъ сыро и скользко. За кустами уже краснѣла крыша маленькой станціи.

— Михаилъ...

— Что, милая?

— Чего же ты ждешь? Новыхъ людей?

— Нѣтъ, нѣтъ! Вотъ это настоящія „общія слова". Не надо новыхъ людей... Какъ „новыхъ" дѣлъ нельзя ждать, пренебрегая старыми, такъ и новыхъ людей. Надо, чтобы въ старыхъ, въ прежнихъ, что-то переломилось, перестроилось... Вотъ что надо. А новыхъ людей ждать—это, во-первыхъ, на себѣ крестъ поставить и руки сложить...

Наташа недовѣрчиво улыбнулась.

— И ты ждешь, что вотъ эти, вотъ Хеся, Яковъ, Юсъ и остальные—что они перемѣнятся? Какъ, почему? Ты самъ не знаешь, чего ты хочешь.

— Я жду, чтобы видѣть яснѣе. Больше ничего. Если не они, такъ есть другіе, должны быть другіе! Свободно растущіе, открытые къ движенію жизни. Но на комъ поставить крестъ? Какъ осмѣлиться? Для этого надо лучше видѣть, больше знать. Я и жду, смотрю. Въ себя и въ нихъ.

Наташа задумалась.

— А о „новыхъ людяхъ", совсѣмъ новыхъ—ты правъ.

Ихъ ждать страшно. Кто знаетъ, какіе они, новые-то? А если въ родѣ Юрія Двоекурова?

— Двоекуровъ? Да, онъ совсѣмъ новый. Или ужъ совсѣмъ старый. Человѣкъ ли?

— А кто же?

— Существо... Организмъ... Особь...

— Рода человѣческаго? Михаилъ, а мнѣ иногда кажется, что мы всѣ, такіе, какъ мы были и есть,— выродки, случайности, что мы дикіе еще, а вотъ Юрій—это нормальная особь человѣческая, и будущее для такихъ, какъ онъ...

— Брось, пожалуйста,—перебилъ ее братъ, смѣясь.—Мы пришли, сейчасъ поѣздъ. Простимся лучше, некогда болтать.

Яковъ и Хеся дожидались ихъ у послѣдняго поворота, на тропинкѣ.

— Вотъ мой поѣздъ,—сказалъ Яковъ.—Прощайте. Бывайте здоровеньки.

Справа, за кустами, беззвучно подкатывался толстый, черный, большетрубный поѣздъ.

— Вы развѣ въ эту сторону?—спросила Наташа.

— Да. Ужъ лучше въ эту.

И Яковъ, придерживая пальто, надѣтое въ накидку, взбѣжалъ по деревянной лѣсенкѣ на платформу и скрылся за будкой.

Поѣздъ, вздохнувъ, остановился и черезъ полминуты, опять шумно вздохнувъ, поползъ дальше.

— Я пройду съ вами,—сказала Наташа,—сейчасъ будетъ другой.

На мокрой деревянной платформѣ было пустынно. Грязный мужикъ возился у забора, около тачки. Собака, желтая, худая, бродила между рельсами. Солнце хотѣло и не могло закатиться. Старалось изо всѣхъ силъ—и все-таки свѣтило. Пронзительно, точно кузнечики, пѣли вечерніе жаворонки. Подъ насыпью, изъ канавы, уже бѣлый вечерній

паръ подымался. Больная сырость. А солнце все такъ же золотило мокрыя березы.

Они трое ходили по платформѣ, не зная, что дѣлать, что говорить.

Хеся между ними, двумя, казалась особенно маленькой и безпомощной. Михаилъ ласково смотрѣлъ на нее, но Наташа съ ужасомъ чувствовала, что начинаетъ ее ненавидѣть. Зачѣмъ—она? Что она путается подъ ногами? Какихъ такихъ перемѣнъ ждетъ отъ нея Михаилъ? Напрасно. Наташѣ хочется еще многое Михаилу сказать, а при ней нельзя. И, однако, онъ ѣдетъ съ Хесей, а Наташа остается. Да, онъ плѣнникъ. Вотъ кто держитъ его, вотъ такія Хеси, которыхъ нельзя покинуть... и съ которыми все равно онъ не пойдетъ впередъ.

— Вы уѣдете, Наташа?—спросила вдругъ Хеся.

Наташа взглянула на нее жестко.

— Не знаю. Должно быть уѣду. Мнѣ хочется уѣхать.

Опять они ходятъ молча. Слушаютъ жаворонковъ, трещащихъ какъ кузнечики, глядятъ на мокрое солнце, которое не хочетъ закатываться, и ждутъ поѣзда, который увезетъ Михаила и Хесю.

Наташа хочетъ спросить у Михаила, когда они увидятся, увидятся ли еще,—и молчитъ.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Приговоръ.

Юруля превесело провелъ нѣсколько дней. Никто ему не надоѣдалъ, онъ дурачился съ Лизочкой; два раза, опять очень удачно, видѣлся съ Машкой, преображаясь въ при-

казчика цвѣточнаго магазина. Машка его еще забавляла; и даже трогала своей первобытной беззаботностью и малыми претензіями. Ей, кажется, и въ голову не приходило спросить франтоватаго приказчика, женится ли онъ на ней. Эта радость сегодняшнему дню и нравилась Юрію.

„Не понимаетъ, вѣдь, ничего,—а какъ вѣрна настоящему человѣческому инстинкту! — думалъ онъ весело.—Лизочка уже подмочена, да ничего, и она славная!“

Хесю у Лизочки Юрій не заставалъ, спросить о ней забылъ, а такъ какъ Лизочка не заговаривала, то онъ и рѣшилъ, что портниха, слава Богу, исчезла съ горизонта. Ну ихъ совсѣмъ! И Кнорра не видно. Должно быть, пристроила его Хеся опять... Тѣмъ лучше. Юрій очень радъ, что увезъ его тогда отъ слюнявой пули прочь. Чѣмъ бы дитя не тѣшилось!..

Одно только непріятно вспоминалось Юрію: Саша Левковичъ. Безъ глупыхъ хлопотъ не обойтись. Ужъ очень Мурочка ненадежна, ужъ очень Саша угрюмъ. Чѣмъ-нибудь разразится. Припугнуть бы Мурочку? Да лѣнь сейчасъ къ нимъ ѣхать. Тамъ посмотримъ.

Получивъ кипу повѣстокъ въ закрытомъ пакетѣ, Юрій вспомнилъ, что это изъ общества „Послѣднихъ вопросовъ“, гдѣ завтра будетъ засѣданіе. Онъ хоть и не далъ Морсову обѣщанія быть, но самому захотѣлось пойти, любопытно вдругъ сдѣлалось: что они тамъ?

Послалъ повѣстки, кому только вздумалось. Хорошо бы сестру Литту у графини изъ-подъ носу утащить. Позабавится дѣвочка, „умные разговоры“ послушаетъ. Возиться съ ней нечего, только привезти да отвезти.

Поѣхалъ домой и сталъ улещивать графиню-бабушку. Такъ ловко повелъ дѣло, что старуха согласилась. На повѣсткѣ стояло: „Собесѣдованіе о „Приговорѣ“ Достоевскаго“. Юрій, чтобы не пугать графиню именемъ Достоевскаго, не

показалъ ей повѣстки, а только увѣрилъ, что общество „научное“ и основано „лучшими нашими силами“, да къ тому же еще „закрытое“. Литта замерла отъ волненія: не вѣрила, что пустятъ. Но графиня даже не навязала Зиттѣ ни одной приживалки, отпустила безъ условій. Юрій заслужилъ ея довѣріе.

— Будь завтра готова, дѣточка,—говорилъ Юруля въ передней.—Подбери волосы, чтобы взрослой казаться. Да вѣдь ты ужъ взрослая. Вотъ тебѣ еще двѣ лишнія повѣстки, захочешь—отдай кому-нибудь.

Раскраснѣвшаяся дѣвочка молча кивнула головой. Подумала, что отдастъ Михаилу завтра... если онъ возьметъ, если... ему можно.

„Однако, что это, чортъ, за „Приговоръ“?—подумалъ Юрій.—Ничего рѣшительно не помню. Канитель какая-нибудь метафизическая...“

Въ эту минуту Литта, будто угадавъ, о чемъ онъ думаетъ, сказала:

— А я знаю „Приговоръ“, Юруля. Это такое коротенькое, въ „Дневникѣ“... Это о самоубійцѣ... Я, вѣдь, всего Достоевскаго очень знаю, у тебя же брала въ кабинетѣ. Какъ интересно. Только страшно.

— Въ „Дневникѣ“, ты говоришь?

— Да. Я знаю гдѣ. Хочешь, принесу?

Черезъ минуту она принесла ему потрепанный томикъ стараго изданія и перегнула его на нужномъ мѣстѣ.

— Помнишь?

Юрій взглянулъ.

— Захвачу съ собой. Пробѣгу дома. Забылъ, въ чемъ тутъ дѣло.

На островѣ Юрію сказали, что былъ Левковичъ, ждалъ его, но потомъ ушелъ. Досадно. А, можетъ, къ лучшему.

Вечеръ у Юрія былъ занятъ, но онъ успѣлъ проглядѣть

забытыя странички Достоевскаго. Съ первыхъ же строкъ понялъ, что̀ должны тутъ говорить Морсовъ и его присные,—и стало еще веселѣе. „Приговоръ“ ему понравился своей простотой; какъ просто и легко его... если не наизнанку вывернуть, то въ настоящую сторону подвинуть.

Юрій совсѣмъ не прочь иногда отъ „умныхъ разговоровъ“; это, вѣдь, тоже игра, да еще какая! Единственная, допускающая искренность, правдивость; игра безъ условностей—и все-таки самая настоящая игра. Юрій за то и жизнь любилъ, что такое въ ней разнообразіе игръ.

ДВАДЦАТАЯ.

Чортова кукла.

Собираются.

Пожалуй, ужъ и собрались—такая куча народу. Почти всѣ толпятся въ столовой, въ смежныхъ комнатахъ,—въ залъ еще нейдутъ. Въ залѣ торопливо занимаютъ мѣста только старыя — худыя и толстыя — дамы и скромные посѣтили изъ новенькихъ.

Помѣщеніе обширное и какое-то глупое, неизвѣстно для чего приспособленное. Впрочемъ, есть и библіотека, позади, темноватая и прохладная. А залу, когда въ ней собирается „Общество послѣднихъ вопросовъ“, устроители налаживаютъ по-своему, довольно странно: длинный столъ съ эстрады несутъ внизъ, на середину комнаты, стулья для публики ставятъ кругомъ, въ нѣсколько рядовъ. Это не очень удобно,—зала длинная и узкая,—но ужъ такъ рѣшилъ Морсовъ и его помощники: они ненавидятъ „эстрадность“ и даже хотѣли бы совсѣмъ искоренить „публику“; имъ мечтается со-

браніе, гдѣ каждый подаетъ голосъ и во всемъ принимаетъ участіе.

Это, конечно, мечты, и большинство собравшихся именно „публика“; не совсѣмъ обыкновенная, но публика.

Юрію все очень понравилось, едва онъ вошелъ.

Усадивъ испуганную Литту въ залѣ, гдѣ нагло-яркій свѣтъ ее еще больше смутилъ, Юрій черезъ столовую медленно пробирался дальше. Какое странное собраніе! Что могло толкнуть этихъ людей на однѣ и тѣ же половицы? Мода? Бездѣлье? Интересъ къ „Послѣднимъ вопросамъ?“ Наивность? Игра? Что?

Юрій долженъ былъ сознаться, что, вѣроятно, есть всякое: интересъ и бездѣлье, игра и скука.

„Литературы“ очень много. Вотъ и толстый Раевскій, похожій на Апухтина, поэтъ „конца вѣка“, мирно разговаривающій съ неприличнымъ Рыжиковымъ, поэтомъ „начала вѣка“. Вотъ безстрастный и любезный Яшвинъ, вездѣ одинаковый—у себя дома, въ гостяхъ и въ собраніи, всегда ровный—въ полдень, въ обѣдъ и за ужиномъ въ пять часовъ утра. Ему что-то медлительно объясняетъ бритый и лысый беллетристъ Глухаревъ. Этотъ Глухаревъ издумалъ собственную религію, исповѣдуетъ ее, но, впрочемъ, никому не навязываетъ и споритъ всегда небрежно.

Вотъ маленькій профессоръ Рындинъ, у котораго къ толпѣ такой видъ, точно онъ сейчасъ же убѣжитъ, потому что толпу онъ очень любилъ, но въ отдаленіи, лучше всего съ каѳедры. Пылкій черненькій историкъ Питомскій уже споритъ съ цѣлой плеядой журналистовъ, плотно засѣвшихъ за чай.

Юрій сталъ пробираться къ Питомскому: онъ ему поможетъ найти Морсова. Оглянулся налѣво: тамъ, у дверей, стояли совсѣмъ другіе люди: всѣ степенные, молодые и старые, въ сборчатыхъ поддевкахъ, въ большихъ сапогахъ.

Невдалекѣ Юрій замѣтилъ блескъ священническаго креста, за чьей-то синей рубахой на выпускъ.

Юрій даже къ лицамъ не успѣвалъ приглядываться, такъ они были разнообразны; пожалуй, разноообразнѣе одеждъ. Шмыгали дѣвицы, въ родѣ курсистокъ, и даже была одна женщина, не „дама", а явная женщина. Она, впрочемъ, стояла у стѣны, не двигаясь.

„Вотъ такъ сборище!—весело думалъ Юрій.—Чего хочешь, того и просишь!"

Совсѣмъ около Питомскаго Юрій столкнулся съ молодымъ очень талантливымъ поэтомъ. Поэтъ обратилъ къ нему красивое деревянное лицо.

— Здравствуйте.

— Какъ, и вы тутъ!—удивился Юрій.—Вы такой отшельникъ.

— Нѣтъ. Отчего? Я даже рефератъ здѣсь читалъ...

„Чудеса!"—подумалъ опять Юрій и окликнулъ Питомскаго:

— Сергѣй Степановичъ!

Потомскій обрадовался ему, немного преувеличенно (у него это было въ характерѣ), и предложилъ провести въ библіотеку.

Пока они шли, Юрій замѣтилъ еще много знакомыхъ лицъ въ толпѣ, совершенно непредвидѣнныхъ и, казалось, вовсе сюда неидущихъ.

— Всегда у васъ такая толпа?—спросилъ онъ Питомскаго, когда они задами пробирались въ библіотеку.

— Бываетъ... Да это что, публика. Но среди нея есть замѣчательныя единицы.

Морсовъ стоялъ у библіотечнаго стола и что-то пространно изъяснялъ робкой пожилой дамѣ. Около него нетерпѣливо жался юный секретарь: ему казалось, что пора начинать.

У камина, въ глубинѣ, тихо разговаривали нѣсколько человѣкъ профессорскаго вида.

Морсовъ почему-то схватился за Юрія.

— Вы будете говорить? Будете? Какая тема! Вотъ вы увидите нашу аудиторію!

— Я ужъ видѣлъ. Не знаю, буду ли говорить. Тутъ у васъ рѣшительно всѣ. Кому же „говорить“?

— Всѣ? Ну вотъ, и надо говорить всѣмъ. Именно со всѣми-то и надо говорить!

Юрій улыбнулся.

— Знаете? А вы, вѣдь, правы.

И подумалъ:

„Говорить вовсе ненужно, но если игра, то почему же не со всѣми?“

Секретарь нетерпѣливо зазвонилъ. Библіотека наполнилась. Дѣвицы подбѣгали то къ Морсову, то къ Рындину, то къ Питомскому и вполголоса приставали. Одна заговорила съ Юріемъ. Нѣсколько рабочихъ тихо убѣждали въ чемъ-то темноволосаго господина, похожаго на профессора. Появился Вячеславовъ и прошелъ впередъ, нѣжной, немного припадающей походкой. Юрій мало зналъ его, почему-то недолюбливалъ этого замѣчательнаго писателя и теперь съ любопытствомъ приглядывался къ его лицу въ золотомъ ореолѣ негустыхъ, пушистыхъ волосъ.

„Навѣрно и онъ скажетъ о „Приговорѣ“ что-нибудь въ родѣ Морсова, если будетъ говорить“, подумалъ Юрій, вспомнивъ, что Морсовъ какъ-то называлъ себя поклонникомъ писателя.

Изъ библіотеки двинулись въ залъ къ столу, пробираясь между рядами стульевъ.

Залъ полонъ. Свѣтъ и предчувствіе духоты обняли Юрія. Столъ былъ невеликъ, сидѣли за нимъ тѣсно,—почти всѣ знакомые Юрію. Онъ оглядѣлся внимательнѣе. Къ удивленію, оказалось, что литературныя и другія „сливки“—люди, которыхъ онъ такъ назвалъ, проходя по столовой,—ютятся въ заднихъ рядахъ, а ближе, почти вокругъ стола, Юрій

увидѣлъ степенныхъ кафтанниковъ и нѣсколько молодыхъ малыхъ въ косовороткахъ подъ пиджаками—явно рабочихъ.

„Эге, мѣстничество своего рода,—подумалъ Юрій.—Демократничаетъ Морсикъ“.

Разглядѣлъ, впрочемъ, и задніе ряды: нашелъ Литту. Рядомъ съ ней какая-то дама, лица не видно, только начесы темные, сидитъ наклонившись. Кнорра Юрій не замѣтилъ. Никому бы онъ уже не удивился. Стало казаться, что непремѣнно всѣ тутъ, видитъ онъ ихъ или не видитъ.

— Господа, — началъ Морсовъ, — у насъ предсѣдателя нѣтъ, какъ всегда, мы избѣгаемъ всякой офиціальности, не любимъ ораторовъ и стремимся, чтобы наше собесѣдованіе не принимало характера преній. Каждый можетъ вступать въ разговоръ, дѣлать замѣчанія, какія ему вздумается, я буду только слѣдить за самымъ необходимымъ порядкомъ. Открываю бесѣду докладомъ моего взгляда на данный отрывокъ Достоевскаго.

„Ну, посмотримъ, тó ли ты будешь говорить, что тебѣ слѣдуетъ“... подумалъ Юрій.

Морсовъ говорилъ то, и, хотя особой новизны сущность его рѣчи не представляла, онъ говорилъ красиво, интересно и умно. Немного длинно и непросто, но умно. Началъ съ того, что это „выдуманное“ письмо „самоубійцы *отъ скуки*, разумѣтся, матеріалиста“—лежитъ въ основѣ почти всѣхъ реальныхъ самоубійствъ, сдѣлавшихся повальной болѣзнью нашего времени. Если бы могъ или сумѣлъ каждый уяснить себѣ до конца предсмертное состояніе своей души, онъ оставилъ бы точно такое письмо. Каждый самоубійца думаетъ, что „нельзя жить“, потому что не для чего „соглашаться страдать“. Въ самомъ дѣлѣ, думаетъ онъ, для чего? Какое право природа имѣла производить его, безъ его воли на то, страдающаго, бросить въ жизнь, какова она есть? И дальше: пусть жизнь измѣнится, пусть можно „устроиться и устроить

гнѣздо на основаніяхъ разумныхъ, на научно вѣрныхъ соціальныхъ началахъ, а не какъ было донынѣ". Опять онъ спрашиваетъ: для чего? Вѣдь сознаніе говоритъ ему, что завтра же все это будетъ уничтожено, превращено въ нуль, и вся „счастливая" жизнь, и онъ самъ. Вотъ подъ этимъ-то условіемъ „грозящаго завтра нуля" и нельзя жить. „Это чувство, непосредственное чувство, и я не могу побороть его".

Морсовъ очень тонко и ярко распространился насчетъ „непосредственнаго чувства". Онъ доказывалъ, что съ нимъ, съ такимъ, въ самомъ дѣлѣ, нельзя жить ни секунды, и проникнись имъ дѣйствительно всѣ,—хотя бы здѣсь сидящіе,—они не дожили бы до завтрашняго утра.

— Я знаю,—прибавилъ Морсовъ,—многіе искренно воображаютъ, что они убѣждены въ полномъ уничтоженіи своей личности послѣ смерти,—и все-таки о самоубійствѣ не помышляютъ. Но это-то послѣднее и доказываетъ, что они просто надъ вопросомъ не думали, этого „завтрашняго нуля" воочію передъ собой не видѣли, а „непосредственное чувство" у нихъ совсѣмъ другое и находится въ противорѣчіи съ воображаемымъ о нулѣ знаніемъ. Такимъ образомъ, я утверждаю, что понятіе личности ..

„А еще ораторства рекомендовалъ избѣгать,—подумалъ соскучившійся Юрій.—Да ему нѣтъ и предлога кончить. Сейчасъ до христіанства дойдетъ".

Но Морсовъ христіанства едва коснулся, онъ занесся куда-то совсѣмъ въ сторону, заговорилъ непонятнѣе и круглѣе,—и кончилъ.

Никто не сдѣлалъ никакихъ замѣчаній, да и не успѣлъ бы, такъ какъ слова Морсова тотчасъ же были подхвачены Питомскимъ. Этотъ сразу заговорилъ о вѣрѣ, о христіанствѣ, объ ученіи личнаго безсмертія, о проникновенности—и о грубыхъ ошибкахъ Достоевскаго. Говорилъ съ такой пылкостью, что Юрій даже удивился. Слѣдить за нимъ трудно

но слушать почему-то пріятно. Юрій видѣлъ, какъ старыя дамы протянули впередъ сухія шеи и впивались въ черненькаго историка, у котораго отъ волненія все время слетало pince-nez.

Онъ кончилъ какъ-то внезапно, вдругъ оборвалъ.

„Для кого это они?—про себя усмѣхнулся Юрій.—Ежели для степенныхъ сектантовъ, то вѣдь они и такъ вѣруютъ, а если для Раевскаго, Глухарева, Стасика и Лизочки моей, то на что они надѣются?“

Впрочемъ, сейчасъ же сообразилъ: „Ни для кого. Для всѣхъ. Для себя. Вѣдь это же игра!“

Когда Питомскій кончилъ, въ ближайшихъ рядахъ стали двигаться. Откашлянулся какой-то молодой малый съ широкимъ лицомъ и приподнятыми бровями, синерубашечникъ, можетъ быть рабочій.

— Вы хотите сказать?..—предупредительно обратился къ нему „неофиціальный“ предсѣдатель.

Тотъ опять кашлянулъ и отрывисто, хотя безъ всякой робости, началъ:

— Да я вотъ... по поводу вашей рѣчи. Что же намъ такъ пристально сразу же о смерти думать, нуль тамъ или еще что... Живемъ мы; ну ужъ просто, значитъ, дѣйствуетъ инстинктъ самосохраненія. Скажемъ, нуль, дознано, скажемъ... Природный-то инстинктъ будетъ же дѣйствовать... Голодъ, скажемъ, будетъ у меня? А если будетъ, такъ я стану пищи искать, нуль мнѣ предстоитъ или не нуль...

— Ага!—вскрикнулъ Питомскій, уловивъ только одно.— Значитъ, по-вашему, дознано, что тамъ нуль? Наука дошла, опредѣлила, разъ навсегда? А гдѣ это она опредѣлила?

Морсовъ слабо замахалъ рукой.

— Позвольте, позвольте, это не по вопросу...

Но Питомскій уже сцѣпился съ парнемъ, оба говорили свое, мимо другъ друга. Ввязалось еще нѣсколько человѣкъ.

выходила путаница. Степенный старецъ въ сапогахъ гудѣлъ, поглаживая сѣрую бороду:

— Нѣтъ, оно, конечно, правильно... Какъ это можно, чтобы безъ безсмертія души. Однако, излишне мудрствуютъ... Тоже и церковники тутъ напутали... Вѣру отшибаютъ...

— Вотъ вы говорите—вѣра...—звонко кричала сзади какая-то дѣвица и тянулась къ Питомскому и Морсову.—А какъ ее пріобрѣсти, какъ, если она утеряна? Вотъ я бывала здѣсь, слушала, ждала; думала—услышу что-нибудь такое...

Морсовъ, дѣлать нечего, зазвонилъ. Утихли немного. Поднялся молодой или моложавый человѣкъ съ простымъ-простымъ мужиковатымъ лицомъ, довольно пріятнымъ, и острыми глазами.

— Я такъ полагаю, господа, что трудно намъ за всѣхъ рѣшать. Да и тоже, собравшись, всенародно говорить. Я полагаю, что, конечно, теперь у всякаго внутри свой Богъ есть или, такъ сказать, своя правда, что ли, во имя чего онъ себя не убиваетъ, живетъ. По-своему домекнулся — и живетъ. Однако время еще не приспѣло, чтобы эту правду на людяхъ, вотъ какъ мы сейчасъ здѣсь, выворачивать. Не приспѣло и не приспѣло. Иной и знаетъ вполнѣ, и вѣритъ, что для всѣхъ она годится, а по совѣсти, совсѣмъ въ открытую, не скажетъ. Словъ ли нѣтъ ни у кого еще для общей-то правды, или мѣстъ такихъ нѣтъ, гдѣ говорить, а только окончательно и открыто никто не станетъ говорить. И это ко благу...

— Значитъ, вы думаете,—вскипѣлъ Питомскій,—что я... что мы... неискренно...

Остроглазый грустно поглядѣлъ на него.

— Не про то я,—вздохнулъ онъ и хотѣлъ продолжать, но въ эту минуту звонко, спокойно и весело прервалъ его Юрій.

— Вы не правы. Отчего никто не скажетъ? Не всѣ, но

есть такіе, которые скажутъ. Я вотъ, напримѣръ, вездѣ и всегда, если только меня спросятъ, могу „въ открытую“ сказать, чѣмъ я живу и какъ живу. Это моя правда, и думаю еще я, что она годна для всѣхъ. Я ее не проповѣдую именно потому, что слишкомъ убѣжденъ въ ея всеобщей годности. Многіе и теперь живутъ ею, да къ бѣдѣ своей этого не знаютъ. Знать, понять,—очень важно. Потомъ всѣ будутъ знать. Непремѣнно. А когда, скоро ли—я не забочусь, мнѣ это все равно.

— Что жъ вы загадки-то загадываете, говорите,—протянулъ остроглазый, не сводя взора съ красиваго, живого лица Юрія.

— Говорите, говорите!—захлопоталъ Морсовъ, и, забывъ, что онъ не „офиціальный“ предсѣдатель, возгласилъ: — Господа! Слово принадлежитъ Юрію Николаевичу Двоекурову!

Юрій съ своего мѣста не видѣлъ только сидящихъ позади него. Но онъ слышалъ, что и тамъ задвигали стульями. Остроглазый человѣкъ сидѣлъ прямо передъ нимъ, старики въ кафтанахъ тоже близко. Изъ-за нихъ вдругъ блеснули чьи-то знакомые синіе глаза, но чьи—Юрію некогда догадываться. Очень ужъ все весело и занимательно.

— Я не отойду отъ нашей темы,—началъ Юрій.—Мнѣ это письмо самоубійцы очень поможетъ сказать то, о чемъ меня здѣсь спросили. И говорить буду попросту, иначе не умѣю. Вотъ самоубійца Достоевскаго толкуетъ о своемъ сознаніи. Дошелъ будто бы до высшей точки сознанія, потому что ставитъ себѣ разные вопросы. Ну а я думаю, что вовсе у него не высшая точка, а больная кривизна. Или въ лучшемъ случаѣ, нѣкоторое перепутье. Онъ же и самъ себѣ противорѣчитъ. Говоритъ: „если выбирать *сознательно*, то ужъ, разумѣется, я пожелаю быть счастливымъ лишь въ то мгновеніе, пока я существую, а до цѣлаго и его гармоніи мнѣ ровно нѣтъ никакого дѣла послѣ того, какъ *я* уничтожусь“. Вотъ это правда. Сознательно пожелать быть счастливымъ,

пока *я* существую,—въ этомъ собственно и вся правда человѣческая, даже если - хотите и „спасеніе“ человѣчества. Только *сознательно* пожелать: это надо запомнить. Безсознательно или мало-сознательно, глупо и неумѣло, большинство людей (если не всѣ) этимъ однимъ живутъ и всегда жили.

„Отъ неясности желанія или отъ неумѣлости взяться, отъ вѣчныхъ поэтому неудачъ,—люди мечутся въ своихъ и чужихъ сѣтяхъ и страдаютъ. Наконецъ, выдумываютъ себѣ вопросы, со злобой говорятъ, что жить нельзя, потому что ихъ нельзя рѣшить, а между тѣмъ ни эти вопросы, ни отвѣты людямъ совершенно ни на что не нужны. Я не грубо какъ-нибудь говорю „нужны“, нѣтъ, просто-таки никого изъ насъ они не касаются. „Для чего?“ спрашиваетъ самоубійца и продолжаетъ: „Все, что мнѣ могли бы отвѣтить, это: чтобъ получить наслажденіе“. Такимъ отвѣтомъ онъ не удовлетворяется.

„Я, молъ, не корова и не цвѣтокъ, я человѣкъ, потому что я „задаю себѣ безпрерывно вопросы“ о смыслѣ жизни. А по-моему, даже одно это хвастовство и презрительное отношеніе къ животнымъ—признакъ, что онъ еще не полный человѣкъ, а выскочка, и сознаніе его—еще такъ себѣ, полусознаніе: мечется, измышляетъ вопросы и „безпрерывно ихъ себѣ задаетъ“, хотя и знаетъ втайнѣ, что ни одного не рѣшитъ.

„Впрочемъ, на вопросъ „для чего?“ онъ какъ бы отвѣчаетъ: „ни для чего“. Прекрасно. И я то же говорю; отвѣтъ „ни для чего“—правильный (разъ ужъ навязались вопросы да отвѣты); но почему надо умирать, если мы живемъ ни для чего? Напротивъ, это именно отвѣтъ, утверждающій жизнь, толкающій жить.

„Буду нуль. Не желаю быть нулемъ. Провались лучше тогда все и вся“. Скажите пожалуйста! Какая гордыня! Сидоръ Сидоровичъ, который сотни вѣковъ былъ нулемъ и ни-

чего себѣ, сталъ размышлять и рѣшилъ: или мнѣ вѣчно чай пить, или пусть міръ проваливается. Нѣтъ, высшее сознаніе сдѣлаетъ человѣка прежде всего смиреннѣе и проще. Христіане называютъ себя смиренными. А по-моему христіанство-то и создало величайшую гордыню, потворствуя капризамъ каждаго Сидора Сидоровича, который „не согласенъ“, чтобъ міръ существовалъ, если ему не обѣщаютъ чаепитія въ вѣчности. Къ христіанству я еще вернусь, а пока скажу, что съ этими вопросами „для чего?“, „зачѣмъ?“, да „куда?“, со всѣми „исканіями смысла жизни“ мы непремѣнно должны будемъ кончить. Это придумки, освященныя предразсудками. Считается уважительнымъ—„искать смыслъ“ жизни, а не искать—стыднымъ. Не наоборотъ ли? Ну, да со временемъ все это выяснится и поймется, какъ должно. Понялъ же я,—поймутъ и другіе. Я убѣжденъ, что никакого смысла жизни нѣтъ и твердо знаю, что онъ мнѣ не нуженъ. Больше: знаю, что и никому онъ не нуженъ, только я это сознаю, и говорю, и такъ живу, какъ говорю, а другіе, даже кто и живетъ по-моему,—молчатъ.

— Это старо, старо!—закричалъ Питомскій.—И все давнымъ-давно извѣстно. И довольно пусто! А христіанство-то вы зачѣмъ приплели?

Кто-то, изо всѣхъ силъ спѣша, боясь, вѣрно, чтобы его не остановили, громко заговорилъ:

— Да вы не про то! А какъ же это: пожелать быть счастливымъ, и что жъ? Развѣ отъ пожеланія сдѣлается? Жизнь безъ смысла, и тогда сдѣлается? Я не понимаю, вы отрицаете же сознаніе?

Юрій терпѣливо улыбнулся.

— Какъ отрицаю? Я вѣдь сказалъ — надо *сознательно* пожелать себѣ счастья, именно сознательно, умно и смиренно, себѣ самому, на то время, пока я живу. Заботиться о себѣ разумно и съ волей. Довольно для каждаго человѣка одной жизни и одной заботы.

Остроглазый человѣкъ заволновался, хотѣлъ что-то сказать, но другой рядомъ, постарше, перебилъ:

— Это какъ же-съ, себя устраивать, значитъ, въ первую голову? Это мы слыхали. Это на какихъ же правилахъ? Да ежели каждый станетъ такъ разсуждать, чтобы ему одному чай пить...

Прежній голосъ, задыхаясь, выкрикнулъ:

— А такія правила, что „все мнѣ позволено!" Стара штука!

— Съ чего вы взяли?—весело подхватилъ Юрій. Отнюдь не все позволено! Отнюдь! Я только что хотѣлъ самъ объ этомъ сказать. Сознательно и умно устраивая свое счастье, *я не долженъ вредить другимъ*. Вотъ это надо все время помнить. Кстати, чтобы не вышло недоразумѣній, скажу сразу, что я понимаю подъ „вредомъ". Причинить другому вредъ— это, значитъ, поставить человѣка въ такое положеніе, котораго онъ самъ для себя не хочетъ. Глубже этого „не хочетъ для себя самъ"—я не сужу. И однимъ тѣмъ, что я нисколько не буду заботиться о пользѣ другихъ, я избѣгну громаднаго вреда, какой могъ бы тутъ принести, вмѣшиваясь въ чужія желанія. Еще, конечно, хуже, если я прямо вздумаю строить что-нибудь для себя на вредѣ другимъ, — это ужъ будетъ вконецъ неумно, это не устроеніе жизни, а данное жизни— обычная „борьба за существованіе". Скажите, — обернулся Юрій вдругъ къ старику,—а вы что же думаете, что чаю на свѣтѣ очень мало? И вамъ ужъ нехватитъ, если я его попью? Хватитъ, съ умомъ да мѣрой. Мѣра—вотъ тоже хорошая человѣческая вещь, у животныхъ ея нѣтъ. Я не прошу, чтобы вы мнѣ чай добывали, я самъ себѣ добуду, а вы сами себѣ. Если я о васъ не стану хлопотать и вы обо мнѣ,— право, мы лучше промыслимъ. Вѣдь вы не знаете, какой я чай люблю. А вредить вамъ мнѣ и расчета нѣтъ.

Сдѣлался шумъ. Кричали: „Это вѣрно!" „Нѣтъ, слова!"

„А если интересы встрѣтятся?“ „Да бросьте!“ „Все теоріи обычнаго эгоизма, стараго, какъ міръ!“

Морсовъ хотѣлъ уже звонить, но Юрій сильно повысилъ голосъ:

— Пожалуйста, не мѣшайте! Я сейчасъ кончу. Да, конечно, пока нормально-сознательныхъ людей мало, интересы часто сталкиваются. Бываетъ такъ, по глупости людской, что либо сдѣлай вредъ, либо тебѣ его сдѣлаютъ. Тогда ужъ волей-неволей надо вредить; вреда себѣ—никакъ и никогда допустить нельзя. Но, право, этихъ случаевъ при желаніи не трудно избѣгать. Гораздо чаще бываетъ наоборотъ: кого-нибудь пожалѣешь,—жалѣть естественно, но вѣдь непріятно,—поможешь ему, если тебѣ ничего не стоитъ, вотъ и удовольствіе, и другому хорошо.

— Какая идиллія!—презрительно вставилъ Питомскій.—Зла-то, по-вашему, значитъ, нѣтъ?

— Есть зло. Есть зло и въ людяхъ, и въ природѣ. Но оно вполнѣ побѣдимо человѣческими силами. Смерть непобѣдима, но она и не зло; зло—страданія, а они, конечно, со временемъ исчезнутъ. Въ людяхъ еще много зла. Этимъ они очень вредятъ себѣ. Зло всякіе „вопросы“, напримѣръ, а то еще любовь. Я называю любовью чувство къ другому человѣку болѣе сильное, чѣмъ къ самому себѣ или даже „какъ къ самому себѣ“. И оно, это ненормальное чувство,—въ какихъ бы формахъ ни проявлялось,—всегда несомнѣнное зло, всегда ведетъ къ общему вреду. Я хотѣлъ прибавить о христіанствѣ. Очень достойно уваженія историческое христіанство за то, что исподволь устранило формулу: „любить, какъ самого себя“, и давно уже настаиваетъ на любви ко всѣмъ, т.-е. ни къ кому, и на „charité“, т.-е. въ сущности на жалости. Я кончаю, господа,. простите, что такъ долго занималъ васъ своими простыми мыслями. Я „въ открытую“ говорилъ, чѣмъ я живу. Живу добываніемъ

себѣ счастья, удовольствія, наслажденія, забавы,—при стараніи какъ можно меньше вредить и мѣшать другимъ. Я желаю каждому того, чего онъ самъ себѣ желаетъ, но только пусть онъ самъ это и добываетъ. Конечно, мое единственное „правило“ (о minimum'ѣ вреда другому) устраняетъ всю сложную старую мораль. Я этого не скрываю. Многое мнѣ позволено изъ того, что вамъ еще кажется непозволительнымъ. Въ подробности не буду входить, это лишнее. Я не застрахованъ отъ печальныхъ случайностей, но что жъ дѣлать? Вѣдь я живу въ очень еще малосознательное время. Но живу по своей правдѣ, т.-е. безъ заботы о другихъ, безъ исканій смысла жизни, безъ любви, безъ особеннаго страха; я ищу только своего счастья и, право, постоянно его нахожу! Вотъ и все, господа, я кончилъ.

Онъ кончилъ, но всѣ молчали. Соскучились, одобряли или отъ ярости молчали—нельзя было понять. Можетъ быть, полминуты такъ прошло. Кто-то захлопалъ, хотя „рукоплесканія“ были запрещены. Вдругъ поднялся остроглазый человѣкъ съ простецкимъ лицомъ, ввинтился въ Юрія взоромъ, поднялъ блѣдный палецъ и среди общаго молчанія явственно произнесъ:

— Чортова ты кукла—вотъ ты кто, да! И пусть чортъ съ тобой играетъ, а я и видѣть-то этого не хочу—жалко, тьфу!

Все произошло такъ быстро, что когда оцѣпенѣвшій Морсовъ опомнился и яростно зазвонилъ, человѣкъ съ острыми глазами былъ уже далеко. Онъ протолкнулся между сидящими и сразу сгинулъ въ толпѣ. Сектанты въ кафтанахъ тоже поднялись съ мѣстъ. Зала заволновалась, гдѣ-то хихикали, но звонокъ Морсова все покрылъ.

Морсовъ былъ красенъ и сконфуженъ. Шепталъ Юрію какія-то извиненія:

— Въ первый разъ подобная выходка... Мы этого члена совсѣмъ не знаемъ... Трудно всѣхъ знать... Но, конечно...

— Да вы не безпокойтесь, пожалуйста,—остановилъ его Юрій.—Я нисколько не обиженъ.

Онъ, дѣйствительно, не былъ смущенъ. Длинный, представительный журналистъ Звягинцевъ,—демократъ, несмотря на свой непобѣдимо барственный видъ,—наклонился къ Юрію съ другой стороны:

— Я не метафизикъ, но рѣшительно не понимаю, какъ можно такъ обращаться съ метафизикой. И вы говорили такимъ нарочито-примитивнымъ языкомъ, что прямо вызывали на фанатическій протестъ...

Морсовъ кончилъ звонить.

— Два слова...—сказалъ худощавый господинъ изъ второго ряда, очень хорошо одѣтый, въ высокихъ воротничкахъ.

— Мы хотѣли сдѣлать перерывъ,—началъ Морсовъ.—Послѣ перерыва мы всѣ будемъ возражать господину Двоекурову. Но если ваше слово кратко...

Морсова, кажется, подкупили корректные воротнички. Понадѣялся, что неловкость будетъ смазана.

— Очень кратко,—сказалъ тотъ и блеснулъ синими глазами на Юрія, который только теперь узналъ говорившаго.—Что же тутъ можно вовразить? Г. Двоекуровъ говорилъ искренно, игралъ немножко въ циническую наивность, но игра у него тоже искренняя. Я хочу только сказать, что все это не имѣетъ никакого отношенія ни къ кому, кромѣ него самого. Онъ считаетъ себя нормой и свое сознаніе—высшимъ человѣческимъ сознаніемъ,—но это невинное самообольщеніе. Невинное, такъ какъ никого серьезно не соблазнитъ рабское счастье г. Двоекурова. Свойство человѣка—искать сначала свободы, а потомъ ужъ счастья. Тутъ же мы встрѣчаемся съ полнымъ отсутствіемъ даже понима-

нія свободы. Отрекаясь отъ всякихъ крайнихъ исканій человѣческаго разума и чувства, г. Двоекуровъ долженъ признать случайность (онъ и признаетъ ее), то-есть произволъ, но непремѣнно признать навсегда, на вѣчныя времена. Если быть послѣдовательнымъ, то бороться съ такимъ произволомъ, съ постоянными случайностями, нельзя, не имѣетъ смысла, а можно только лавировать между ними въ напряженной заботѣ о своемъ удовольствіи. Это лавированье, эту погоню я и называю самымъ противнымъ, самымъ унизительнымъ изъ рабствъ. Къ тому же оно непрактично: въ концѣ-концовъ случай, превращенный тобою въ вѣчный законъ, тебя же долженъ погубить. Г. Двоекуровъ хочетъ смотрѣть на жизнь, какъ на игру въ рулетку, и хочетъ выиграть. Желаю ему долго выигрывать. Но не слѣдуетъ забывать: въ конечномъ-то счетѣ всегда выигрываетъ банкъ. Впрочемъ, повторяю, все это не касается человѣчества, поскольку оно человѣчно и не смотритъ на жизнь, какъ на рулетку; а есть ли основанія утверждать, что норма для всякаго изъ насъ—сдѣлаться игрокомъ? Относительно же „послѣднихъ вопросовъ“ я долженъ присоединиться къ тому оппоненту г. Двоекурова, который только что вышелъ... т.-е. къ его замѣчанію передъ рѣчью г. Двоекурова. Если и есть у многихъ изъ насъ свои вопросы, свои отвѣты и своя правда, то нѣтъ еще словъ для нея и нѣтъ мѣста, гдѣ говорить о ней.

Морсовъ шумно поднялся со стула.

— Господа, объявляю перерывъ!

Поднялись всѣ, начался грохотъ и гулъ. Морсовъ спѣшилъ въ библіотеку. Онъ былъ красенъ и взволнованъ. Въ послѣдней рѣчи тоже было что-то не то. Она и публикѣ не очень понравилась. Юрій (теперь это было видно) вызвалъ гораздо болѣе симпатіи; онъ такъ искрененъ; да и такъ красивъ. Но Морсову и отъ Юрія было не по себѣ. Онъ надѣялся уладить что-нибудь во время перерыва: пусть во

второмъ отдѣленіи говорятъ профессора, попросить Вячеславова, Звягинцева, даже Глухарева можно. Пусть говорятъ о метафизикѣ, о христіанствѣ вообще, о Достоевскомъ вообще... Глухаревъ заведетъ о собственной религіи, о махосадо-эготизмѣ, ну да ничего, онъ немногословенъ и туманенъ. А потомъ Морсовъ скажетъ резюме.

Въ библіотекѣ Юрія сразу окружили, затѣснили, заговорили. Онъ не могъ даже понять, чего отъ него хотятъ, выражаютъ ли ему сочувствіе или требуютъ поясненій. Вдругъ, черезъ головы двухъ распаренныхъ, взволнованныхъ дѣвицъ, онъ увидѣлъ, что ему дѣлаетъ знаки служитель.

Юрій ловко выскользнулъ изъ толпы.

— Васъ тамъ... въ швейцарской... г. офицеръ спрашиваютъ.

— Меня?

— Да-съ. Студента Двоекурова.

Окольными коридорами Юрій сбѣжалъ въ швейцарскую. Сразу почему-то пришелъ на умъ Саша Левковичъ; стало безпокойно, хмуро, досадно.

Прислонившись къ стѣнкѣ, за зеркаломъ, стоялъ офицеръ. Въ пальто и въ фуражкѣ. Лицо у него было странное, темноватое, съ отдутыми губами, такъ что Юрій на секунду его не узналъ.

— Саша, это ты?

— Поѣзжай домой. На Васильевскій. Я тоже... къ тебѣ.

— Саша, да ты раздѣнься, поднимись. Потомъ поѣдемъ, если хочешь.

— Нѣтъ, я ужъ входилъ... на минуту. Я отъ тебя. Поѣдемъ къ тебѣ. На Васильевскій.

Юрій сжалъ брови. Подумалъ. Очевидно, надо ѣхать. Левковичъ говорилъ глухо, ровно, глядѣлъ внизъ и не двинулся. Надо ѣхать. Вся эта канитель съ вечеромъ Юрію, кстати, ужъ и надоѣла. Но вдругъ онъ вспомнилъ:

— Я не могу, Саша, я долженъ сестру домой отвести. Сестра Литта здѣсь.

— Видѣлъ въ залѣ. Съ француженкой твоей рядомъ. Ты и ей француженку нанялъ?

Левковичъ открылъ ротъ и визгливо захохоталъ, впрочемъ сейчасъ же умолкъ. Юрій не понялъ рѣшительно ничего; отъ неожиданнаго хохота ему стало противно.

— Отвези сейчасъ и пріѣзжай. Я буду у тебя, на Васильевскомъ. Ждать буду. Пріѣзжай!—закончилъ Левковичъ опять визгливо и повелительно.

Дернулся вбокъ, неловко повернулся и пошелъ изъ швейцарской.

Юрій съ нестерпимой досадой повелъ плечами. Однако, надо дѣйствовать. Итти черезъ всю толпу отыскивать Литту—чрезвычайно не хотѣлось. Въ просторной швейцарской, затемненные горами разныхъ пальто и накидокъ, одѣвались молча какіе-то люди. Юрій быстро подошелъ къ одному изъ нихъ, тому самому, въ высокихъ воротничкахъ, который только что ему возражалъ.

— Послушайте,—сказалъ онъ вполголоса и равнодушно, какъ мало знакомому.—Не будете ли вы такъ любезны... передать моей сестрѣ, что мы уѣзжаемъ, что я жду ее внизу. Необходимо.

И прибавилъ совсѣмъ тихо:

— Какъ ты здѣсь? Смотри, не очень ли раскутился?

Господинъ въ высокихъ воротничкахъ ничего не отвѣтилъ, но быстро, съ шапкой въ рукахъ, пошелъ наверхъ, на лѣстницу.

Другой, уже совсѣмъ одѣтый, пробираясь мимо Юрія, къ двери, слегка засмѣялся и, тоже совсѣмъ тихо, проговорилъ:

— Ужъ очень заботитесь... насчетъ чужихъ кутежей. А еще хвастали, что объ одномъ себѣ заботу имѣете.

Передъ Юріемъ мелькнуло испитое лицо Якова и его зеленые зубы.

Было томительно. Литта не шла. Юрій поднялся на нѣсколько ступенекъ и заглянулъ въ полуотворенную дверь, гдѣ стоялъ гулъ и дымъ. Опять его заняло на минуту „вавилонское смѣшеніе"; увидалъ барственнаго демократа Звягинцева, знакомую, сухую курсистку, профессора съ худыми щеками и между ними симпатичнаго батюшку, который очень серьезно и внимательно слушалъ какія-то объясненія Звягинцева. Поодаль Раевскій, поэтъ, похожій на Апухтина, говорилъ также серьезно съ какимъ-то купцомъ, не менѣе толстымъ, чѣмъ онъ самъ.

„Э, да ну ихъ", подумалъ озабоченный Юрій и опять пошелъ внизъ.

На верхней площадкѣ показалась Литта. Она торопливо прощалась съ черноголовой дамой, которая въ залѣ сидѣла около нея.

Юрій узналъ Наташу. Сразу вспомнилъ странныя слова Левковича о „француженкѣ". И совсѣмъ разсердился.

„Нѣтъ, это чортъ знаетъ, какъ они неосторожны! Съ ума, что ли, они сошли! А если бы Саша сѣлъ рядомъ? Пришлось бы мнѣ врать на всѣ четыре стороны!"

— Ты хочешь ѣхать?—спросила Литта сухо.

Онъ не обратилъ вниманія на странно-строгое выраженіе ея лица. Да, онъ спѣшитъ, онъ сейчасъ же долженъ отвезти ее домой.

На тротуарѣ нужно было ждать минуты двѣ, пока звали графинину карету. Дождя не было, но хуже: острая, проклятая изморозь напитала бѣлесоватую ночь, и ночь отяжелѣла, какъ мокрая перина.

Человѣкъ съ длинноватомъ пальто прошелъ неторопливо мимо; затерся, было, въ изморози, и вотъ опять идетъ, назадъ. Юрій узналъ острые глаза. Это тотъ, что чортовой

куклой его обозвалъ. Чего онъ тутъ дежуритъ? На такого какого-нибудь не похожъ...

Уже садясь въ карету, Юрій увидалъ выходившаго Михаила. Въ ту же минуту къ нему подскочилъ остроглазый и что-то сказалъ. Нѣсколько мгновеній Михаилъ стоялъ неподвижно, не отвѣчая. Высокіе его воротнички бѣлѣли, франтоватое пальто было распахнуто. Остроглазый продолжалъ говорить не повышая голоса. И вдругъ они пошли вмѣстѣ, сразу пропали за паутинным пологомъ изморози.

„Съ единомышленничкомъ, что ли, моей чортовой куклѣ захотѣлось познакомиться? — подумалъ разсѣянно Юрій.— Нѣтъ, а тѣ-то какъ раскутились! Ну да шутъ съ ними со всѣми! Не до нихъ!“

Юрію, дѣйствительно, было не до нихъ. Безпокойная досада его грызла, желаніе скорѣе быть дома. Онъ думалъ о Левковичѣ, соображалъ, что удобнѣе съ нимъ дѣлать. Но сообразить трудно, пока не знаешь, въ чемъ именно дѣло.

Литта молчала, какъ убитая. Юрій почти и забылъ о ней. Цокали копыта по деревянной мостовой.

— Юрій!

— Что тебѣ?—полуудивленно откликнулся Юрій, точно разбуженный.

Голосъ Литты странно звучалъ изъ темноты, строгій, какъ у взрослой.

— Юрій, ты не долженъ былъ такъ говорить. Я тебя всегда любила, Юрій, и теперь люблю, но если ты въ самомъ дѣлѣ такой... то я тебѣ не сестра, вотъ и все!

— Да ну?—разсѣянно усмѣхаясь, проговорилъ Юрій.

— Нечего смѣяться, я серьезно. Я такъ рада была, что Михаилъ послѣ тебѣ сказалъ, какъ это стыдно. И тотъ, первый, тоже вѣрно. Грубо, я сознаюсь, но онъ правду, правду! Какъ же это можно, Господи! И при всѣхъ ты это!

— Да что ты, сестренка, нездорова? — искренно изумился Юрій.—Много ты понимаешь. Подумай-ка молча.

Но Литту уже нельзя было остановить. Она взволнованно и горячо продолжала свое и съ такой настойчивостью, что Юрій сталъ даже вслушиваться.

— Меня Наташа, вотъ кто меня поразилъ! — говорила Литта.— Вдругъ согласна, что ты много вѣрнаго! Ты! Увѣряетъ, что тутъ есть своя мудрость. Какъ она могла!..

— Ты бы лучше не толкала людей на лишнія глупости,— строго прервалъ ее братъ.—Вѣдь это ты имъ дала повѣстки? А знаешь ли, что Саша Левковичъ былъ въ залѣ? А если бы онъ услышалъ, какъ эта твоя Наташа по-русски жаритъ? Не понимаешь ничего, глупости и гадости дѣлаешь, такъ ужъ молчала бы съ проповѣдями. И тѣ тоже хороши, связались съ дѣвчонкой! Ну да мнѣ, извини за выраженіе, наплевать; только сдѣлай милость, оставь меня сейчасъ въ покоѣ. У меня очень серьезное дѣло, и болтать сызнова о пустякахъ некогда.

Карета стала у графининаго подъѣзда. Въ бѣлой безфонарной мглѣ Литтино лицо казалось старымъ, отъ обиды, гнѣва и внезапнаго ужаса. Хотѣла было удержать Юрія, сказать еще что-то самое необходимое, но не сказала, точно языкъ отнялся.

Пошла наверхъ по ковру, а Юрій уѣхалъ. Торопился, взялъ ту же графинину карету.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Случай съ выстрѣломъ.

Лампу зажгли поспѣшно и небрежно; она горитъ скверно, воняетъ. У стола Левковичъ, какъ былъ, въ фуражкѣ и

пальто; скрючившись, торопливо что-то пишетъ. Дописалъ, сложилъ, толкаетъ въ конвертъ, но такъ нелѣпо, что листокъ не входитъ. Скрививъ усы, Левковичъ комкаетъ бумагу, гнетъ, но все-таки она не влѣзаетъ въ конвертъ.

— Ты не хотѣлъ меня дожидаться, Саша? — говоритъ Юрій въ дверяхъ.—Ты мнѣ это писалъ? Еще рано. Всего одиннадцатый въ началѣ.

Левковичъ всталъ.

— Ага! Я думалъ, не придешь.

— Почему же? Да раздѣвайся. Поговоримъ.

— Поговоримъ? Раздѣвайся? Нѣтъ-съ, мнѣ не до говоренья. Кончено со мною. Да и съ вами.

— Ты съ ума, что ли, сошелъ?—прикрикнулъ Юрій, не сводя глазъ съ неподвижнаго лица пріятеля.—Въ чемъ дѣло?

Левковичъ дернулъ рукой впередъ и выстрѣлилъ. Невольно отпрыгнувъ влѣво, къ двери, Юрій опрокинулъ стулъ и самъ едва не упалъ. Бѣлый клубокъ дыма посѣрѣлъ, распустился на всю комнату, лампа сдѣлалась желтымъ пятномъ, блѣднолиловый черыреугольникъ окна затмился.

Левковичъ обернулъ длинный офицерскій револьверъ къ себѣ дуломъ и опять выстрѣлилъ. Юрій уже былъ около, успѣлъ схватить руку, но толкнуть какъ слѣдуетъ не успѣлъ. Выстрѣлъ былъ глуше, но опять—клубъ бѣлый, завѣса дыма еще плотнѣе, и въ дыму криво и тяжело валящійся офицеръ, бокомъ на уголъ стола, потомъ ниже, на полъ, задѣвъ этажерку.

— Саша, Саша... Саша!

Дымъ ѣлъ глаза, Юрій ощупью, наклонившись, искалъ, гдѣ лицо упавшаго, гдѣ можетъ быть рана.

Въ незапертую дверь уже вбѣгали, отрывисто кричали, спрашивали. Дымъ немного поднялся и поползъ, качаясь, въ коридоръ.

— Пожалуйста, доктора... Шишковскаго... тутъ на пло-

щадкѣ,—заговорилъ Юрій.—Мой двоюродный братъ ранилъ себя... нечаянно...

Левковичъ былъ живъ. Онъ хрипѣлъ, странно дергался и что-то говорилъ; что—въ хрипѣ нельзя было понять.

Когда минутъ черезъ пять пришелъ докторъ, толстый, рыжій и добродушный, Левковича уже положили на диванъ. Юрій сообразилъ, что рана должна быть въ лѣвомъ плечѣ. Тутъ гдѣ-то дымилось, мундиръ пахъ гарью.

Терять время было нечего. Юрій согласился съ докторомъ, что самое лучшее — перенести раненаго въ частную лѣчебницу наискосокъ, гдѣ ему будетъ подана нужная помощь всего скорѣе.

Черезъ полчаса Юрій, въ скудно освѣщенной пріемной лѣчебницы, уже выслушивалъ слова другого доктора, хирурга изъ евреевъ, очень внимательнаго и точнаго. Пуля еще не извлечена, рана мучительная, но не смертельная, легкое едва ли задѣто. Больной почти все время въ памяти, жалуется на свою неловкость (или неосторожность?), говоритъ о женѣ.

— Она могла бы его видѣть?—спросилъ Юрій.

— Лучше не сейчасъ... Мы ему скажемъ что-нибудь.

— Какъ найдете нужнымъ. Но она все равно пріѣдетъ, ее надо же предупредить.

Еще почти часъ Юрій провозился дома со всякими формальностями скандала. Кажется, въ неосторожность офицера мало повѣрили, но какое кому дѣло? Офицерскій револьверъ Юрій отдалъ приставу.

А полувсунутую въ конвертъ записку онъ догадался спрятать сразу, еще въ суетѣ. Въ пріемной успѣлъ пробѣжать ее и кое-какъ понялъ, въ чемъ дѣло. Понялъ, по крайней мѣрѣ, какъ нужно дѣйствовать.

Болѣла голова отъ дыма, отъ трескотни, тошнило отъ досады и отъ жалости къ этому глупому, несчастному чело-

вѣку. Завтра ужъ будетъ поздно помочь ему. Вотъ эта возня съ дураками, отъ которой не всегда отвертишься, самое противное, что есть въ жизни.

Юрій не останавливался на безполезныхъ разсужденіяхъ о томъ, что было бы, если бъ Левковичъ случайно не промахнулся, когда стрѣлялъ въ него. Въ этомъ идіотскомъ состояніи естественно было промахнуться. Да и дѣло прошлое.

Уже въ первомъ часу ночи Юрій позвонилъ въ квартиру Левковичей.

Мура, въ капотѣ, немного растрепанная, лежала на широкомъ диванѣ и грызла леденцы.

— Ахъ, Юруличка,—запѣла она, увидѣвъ Юрія, который остановился на порогѣ.—А я думала, кто это такъ поздно? Ну, я не удивляюсь, капризникъ! Саши нѣтъ, идите ко мнѣ... Что вы?—прибавила она, взглядываясь въ лицо гостя, и немного приподнялась.

Въ квартирѣ было тихо. Юрій плотно заперъ дверь, подошелъ къ Мурѣ, цѣпко взялъ за руку повыше кисти и дернулъ такъ, что Мурочка сразу отлетѣла отъ дивана.

— Ты вотъ на что поднялась? Вотъ на что? Ахъ ты, дрянь, дура полоумная!

— Юрочка... Юрочка...

Онъ схватилъ ее за косы и таскалъ по ковру изъ стороны въ сторону.

— И еще врать? Врать пакостно, себѣ и другимъ во вредъ... Нѣтъ, ты у меня эти штуки забудешь... забудешь...

Билъ ее сосредоточенно, упорно, съ серьезнымъ лицомъ, какъ мужикъ „учитъ" жену. Она тряслась и тихо визжала, но не вырывалась.

— Юруля... миленькій... Юрочка... клянусь тебѣ... Больно, Юра...

— Когда я тебя съ Леонтинкой твоей развращалъ? Когда? Было это? Было? Не бросилъ я и Леонтинку, когда

узналъ, что вы за дряни обѣ, и барышня, и гувернантка? Тронулъ я тебя когда-нибудь пальцемъ, а? Для чего ты это наплела человѣку, который только тѣмъ и виноватъ, что такую дрянь любитъ? Для чего? Отвѣчай!

Мура скорчилась на коврѣ, трепанная, запутанная въ складкахъ розоваго капота. Захлебываясь, всхлипывая и закрываясь руками, какъ виноватая баба, лепетала:

— Юрочка... Я нечаянно... Онъ меня не понимаетъ... Я ему сказала, что не люблю его... И жить съ нимъ не буду... А онъ...

— Что-о?—грозно закричалъ Юрій, опять схватилъ ее за руку и посадилъ на коврѣ.—Ты что сказала? Не будешь жить? Не любишь?

Ни малѣйшей злобы въ немъ не было. Была досада, но понемногу и она проходила, было смѣшно. Однако помнилось, что дѣло еще не кончено.

— Ты осмѣлилась сказать, что бросишь его? Кто тебѣ позволилъ? Да ты знаешь, что я съ тобой за это сдѣлаю? Знаешь?

По совѣсти, Юрій самъ не зналъ, что онъ можетъ еще сдѣлать, но это ничему не мѣшало.

— Я не буду, Юрочка... Я не буду.. Прости меня... Я сама не помню, какъ это вышло. Юрикъ, не сердись.

Онъ шагалъ по комнатѣ, сдвинувъ брови и сурово глядя, какъ она, все еще не смѣя подняться съ ковра, слѣдитъ за нимъ глазами.

— Ты, голубушка, помни... Я тебя вездѣ достану... Если я еще хоть тѣнь на Сашиномъ лицѣ увижу! И жить съ нимъ будешь, и такой женой ему будешь, какую ему нужно. Любишь, не любишь—я знать этого не хочу, мнѣ надо одно: чтобы у него и сомнѣній никогда не было, что любишь... Поняла?

— Да... Юрочка...

— Ну, иди сюда.

Онъ сѣлъ на низенькій диванъ, приподнялъ Муру и посадилъ рядомъ. Она прижалась къ нему и снова тихонько заплакала.

— Не реви, а слушай хорошенько. Ты пѣтая дура, но не настолько все же глупа, чтобъ не понять, когда я говорю съ тобой серьезно. Я не шутки съ тобой шучу, ты могла убѣдиться.

Она не отвѣчала, только вздохнула прерывисто, какъ дѣти послѣ плача.

— Я Сашу сумѣю защитить, если ты опять за свою дурь примешься,—продолжилъ онъ.—И ужъ тебя тогда не пожалѣю, извини! Сама себя погубишь. Къ чему ты идіотски про меня еще наврала? Умѣешь врать, когда ненужно.

Мура начала робко:

— Юрочка... право, я сама не знаю, какъ это случилось. Слово за слово... Я ему сказала, что и не любила его никогда, а такъ... Онъ тогда назвалъ меня испорченной, лживой и что-то о тебѣ упомянулъ, что ты мной пренебрегаешь... Я разсердилась и говорю: ну ужъ какая есть, такой и буду... И чтобъ ему назло—тутъ и сказалось у меня: не я себя такой сдѣлала, спросите у вашего Юрія, что онъ со мной устраивалъ, когда мы тогда всѣ въ Царскомъ жили, какія книги намъ приносилъ, и гувернантку мою Леонтину спросите, онъ и съ ней недурно поступилъ, кстати ужъ... Юрій, Юрочка, прости же, я ему скажу, что неправда, скажу, ей-Богу.

— Стоило, подумаешь, съ тобой, дрянью, тогда церемониться!—проговорилъ Юрій сквозь зубы, опять оттолкнувъ Мурочку.—Да ужъ очень мнѣ и Леонтинка стала противна послѣ всѣхъ ея гадостей съ тобой...

— Я виновата, виновата... Ты добрый, Юрочка, удивительный, я въ тебя одного всегда...

Она испугалась и не кончила.

Юрій брезгливо повелъ плечами.

— Ну, некогда теперь, я не за пустяками пріѣхалъ... А подумала ли ты, что твои выкрутасы могутъ довести Сашу чортъ знаетъ до чего? До такого скандала... Вдругъ онъ застрѣлится? Что ты тогда? Вѣдь ты какъ червякъ погибнешь...

Почему она должна погибнуть какъ червякъ—было неизвѣстно. Но Юрій это сказалъ тономъ, не допускающимъ сомнѣнія, и у Мурочки внутри все даже похолодѣло.

— Нѣтъ... не надо... не говори...

— Нечего не говори. Соображала бы раньше. А теперь, матушка, учись: Саша ужъ въ больницѣ лежитъ, у меня стрѣлялся, и если бъ я подъ руку не толкнулъ—можетъ, наповалъ бы.

Мурочка охнула и хотѣла было истерически захохотать и заплакать,—но очень ужъ была напугана, да и наплакалась раньше.

— Пошла, одѣвайся, ѣдемъ къ нему. Онъ тебя спрашивалъ. Если не пустятъ — сиди все равно тамъ до утра. А только что пустятъ—сейчасъ же объяснись съ нимъ какъ надо. Ничего, отъ радости хуже не будетъ. Да помни, ты меня не видала, отъ меня ничего не слыхала, тебѣ изъ больницы дали знать... что онъ „по неосторожности“.

Мурочка была уже на ногахъ, слушала внимательно и кивала головой.

— Да понимаю. Понимаю, ты не думай. Я сейчасъ буду готова. По неосторожности? Ну, да... Я сама, будто, догадалась... Ахъ, Юрикъ, ахъ, Юрикъ...

Она убѣжала, поправляя по дорогѣ волосы. Юрій не разсудилъ ей сказать, что Левковичъ стрѣлялъ сначала въ него. Не хотѣлось, да и можно бы еще напортить. Мурочка, пожалуй, цѣну бы себѣ стала придавать или пожалѣла бы

его, а это все лишнее: ей не для чего разсуждать, на нее нуженъ страхъ. Просто себѣ страхъ, и чтобы она изъ этого страха не выходила. Тогда она сумѣетъ и хитрить съ тактомъ.

Въ больницу онъ ее самъ не повезъ. Посадилъ на извозчика, сказалъ адресъ и сурово напомнилъ ей:

— Такъ не уѣзжать безъ свиданья! Ясно? Завтра я обо всемъ справлюсь.

Мура впопыхахъ, отъ испуга, отъ пережитыхъ волненій, даже не спросила, какая рана, какъ все произошло. Но Юрій не тревожился: должно все обойтись хорошо.

Какъ онъ усталъ! Руки и ноги даже ломило. Спать, спать! Куда? На Васильевскомъ, вѣрно, безпорядокъ еще... Къ Лизочкѣ, лучше всего, потихоньку, и запереться сейчасъ же, чтобы не прилѣзла.

Изморозь продолжалась, только вся побѣлѣла, и дома, сквозь нее, смотрѣли точно опухшіе.

Спать, спать!

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Копыта по крышѣ.

— Я съ пятницы его не видала, понятія не имѣю,—говорила Наташа раздраженно, стоя на крыльцѣ своей дачной хибарки. Куталась съ головой въ рыжеватый платокъ, потому что было холодно, какъ осенью, шелъ дождикъ.

Неожиданно пріѣхали гости: опять Яковъ, Хеся да еще двое другихъ,—Наташа ихъ знала раньше, но давно не видала: молодой, высокій, сутулый, по названію Юсъ, и пожилой, низенькій—Потапъ Потапычъ.

— Такъ не видали, не знаете?—приставалъ Яковъ.—

Очень странно. Странно и опрометчиво такъ исчезать, когда онъ нуженъ.

Наташа сердито поглядѣла на него.

— А это не опрометчиво пріѣзжать ко мнѣ цѣлой толпой? Къ чему, спрашивается?

— Ну, извините,—басомъ сказалъ Юсъ.—Я и то сомнѣвался, да все Яковъ. Говорилъ, такое у васъ здѣсь кладбище, что и собаки только однѣ дохлыя. А Шурина, молъ, у васъ добыть можно.

Михаила часто звали „Шуриномъ".

— Ужъ пріѣхали, такъ идите въ комнату,—проговорила Наташа и повернулась.—Не на дождѣ же мокнуть. Я попрошу хозяйку самоваръ поставить.

Гости двинулись за ней.

— Вотъ это ладно,—бросилъ Яковъ, снимая и встряхивая длинный мокрый кожанъ.—Я точно зналъ, двѣ бутылочки рыженькаго захватилъ. Здѣсь, вѣдь, глушь.

Низенькая, просторная горница была темновата, но чисто прибрана.

Наташа брезгливо покосилась на бутылки коньяку въ рукахъ Якова и вышла поискать свою дьячиху.

Гости расзѣлись у стола съ розовой скатертью. Хеся поодаль, молчаливая.

— Да коли этого... того... коли онъ уроки какіе-то въ графининомъ домѣ все давалъ... такъ графининъ этотъ внучекъ долженъ знать... Ходы-то близкіе...—медленно произнесъ Юсъ.

Яковъ такъ и вскинулся.

— Что? Что? Какіе уроки? Кто говорилъ уроки? Хеся, вы говорили...

Хеся пожала плечами.

— При чемъ же тутъ я? Ничего я не знаю...

— Да, можетъ, напуталъ,—сдался Юсъ.—Я человѣкъ

пріѣзжій. Я къ тому, что Шурина-то очень нужно. Не сидѣть же намъ зря безъ него? Либо такъ, либо этакъ.

Наташа вернулась, сѣла къ столу у мутнаго оконца и, положивъ голову на руку, неласково глядѣла на гостей.

— Давненько я васъ, Сестрица, не видалъ,—обратился къ ней Потапъ Потапычъ.

— Кашляете?

— Да, это ужъ всегда. А теперь еще простудился на сырости. Вотъ чаю хорошо.

— Съ архіерейскими сливочками!—развязно подхватилъ Яковъ.—У меня и штопоръ въ карманѣ!

За чаемъ опять Потапъ Потапычъ сталъ заговаривать съ Наташей. Она отвѣчала отрывисто, потомъ вдругъ сказала, обращаясь ко всѣмъ:

— Я ничего не знаю и желала бы и впредь ничего не знать. Михаилъ со мной ни о чемъ не говоритъ, я видѣлась съ нимъ какъ сестра, больше ничего. Отсюда я думаю черезъ недѣлю уѣхать.

Потапъ Потапычъ удивленно вздохнулъ и закашлялся.

— Уѣхать?—хихикнулъ Яковъ.

— Да. Совсѣмъ.

— Ого, Сестрица, вотъ какъ! — удивленно протянулъ Юсъ.—Это что жъ, офиціально? Это новость.

Яковъ вмѣшался.

— Смотря для кого. Наталья Филипповна давно намъ давала понять, что у нея... другія задачи. Шуринъ зналъ.

— Нѣтъ, какія же „другія задачи"...—заговорила Наташа, сдерживаясь.—Просто я утомлена, измучена, ни на что не гожусь... Рѣшительно ни на что. Мнѣ хотѣлось бы пожить гдѣ-нибудь одной, собраться съ мыслями, заняться чѣмъ-нибудь для себя...

Потапъ Потапычъ опять вздохнулъ, а Яковъ опять засмѣялся.

— Ну да, ну да, всѣмъ намъ пора бы собраться съ мыслями да начать каждому о себѣ заботиться! Эту новую проповѣдь благополучія всѣхъ и каждаго мы тоже слышали! Да и безъ проповѣди ужъ на то пошло! Занятій много есть: кто науку избираетъ, кто искусству хочетъ послужить... Вы что же, Наталья Филипповна, цвѣты по фарфору въ вашемъ уединеніи будете рисовать?

— Яковъ! Вонъ!—вскрикнула Наташа, поднимаясь со стула.—Какъ вы смѣете такъ со мной разговаривать?

Всѣ разомъ вскочили. Юсъ замахалъ руками на Якова.

— Ну, ну, что это, въ самомъ дѣлѣ? Сестрица, да вѣдь такъ нельзя! Плюньте, господа!

Яковъ уже самъ струсилъ, поблѣднѣлъ и бормоталъ что-то извинительное.

Наташа махнула рукой и сѣла. Потапъ Потапычъ, кашляя, заговорилъ—примиряюще. Понемногу обошлось. Гости веселѣли. Не то что веселѣли, а становились говорливѣе, Яковъ развязнѣе, хотя къ Наташѣ прямо уже не обращался.

— А что, Сестрица, вы Петю видали прошлымъ лѣтомъ?—спросилъ Потапъ Потапычъ.

— Да, видѣла. Случайно. Недолго.

— И я видалъ, ужъ подъ осень,—сказалъ Юсъ.—Что, Сестрица, у васъ насчетъ стѣнокъ, ничего?

— Хозяйка глуха. А работника нѣту дома.

— Я видалъ,—повторилъ Юсъ.—Ничего себѣ, онъ ничего. Назадъ ему все равно ходу не было, да онъ, какъ понялъ, и самъ не требовалъ. Повѣрить же ему повѣрили. Ясное дѣло.

— Ясное дѣло!—подхватилъ Потапъ Потапычъ.—Я при первыхъ вѣстяхъ о немъ разобралъ, въ чемъ штука, и хоть посейчасъ ничего подробно не слышалъ, а знаю. Лучше ему кончить и нельзя было, разъ ужъ пришло это въ голову, свернулся.

— Дикая мысль,—сказала Наташа, кутаясь въ платокъ.

Она знала, что Петя былъ младшій братъ Потапа Потапыча, котораго онъ чуть ли не воспитывалъ. Судьба Пети рѣшилась этой осенью и была ужасна. Тѣмъ не менѣе и Потапъ Потапычъ, и другіе, и сама Наташа говорили о Петѣ спокойно, съ привычной простотой, и безъ большого интереса. Потапъ Потапычъ съ давняго времени не видалъ его, ну такъ сообщали подробности.

— Мысль не дикая,—промолвилъ Юсъ.—Понять можно. Сидѣлъ, засидѣлся немного, а тутъ его этой нашей катастрофой, азефской, сразу ошарашило. И на волѣ-то сколькихъ пришибло. Онъ такъ понялъ, что всему общему конецъ, и каждый за свой страхъ пусть дѣйствуетъ. Фантазія разыгралась, сдержки соскочили. Коли *оттуда* могъ одинъ человѣкъ столько дѣлъ надѣлать, такъ и *отсюда* можетъ. Тотъ хорошихъ людей обманывалъ для подлыхъ дѣлъ, а я, молъ, буду подлецовъ обманывать для хорошихъ дѣлъ.

— Нельзя же такъ! Невозможно же!—заволновалась все время молчаливая Хеся.

Потапъ Потапычъ кивалъ головой съ довольнымъ видомъ.

— Ну да, да, я именно такъ его и понялъ. Человѣкъ былъ молодой, нервный. Не всѣмъ подъ силу. Вонъ Бабушка, тоже сидѣла, какъ узнала про Ивана Николаевича. Эта выслушала, помолчала, подумала—плюнула: тьфу! И только. Осталась, какъ была. А что,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Юсу,—Петя-то что же говорилъ?

— Вотъ это самое и говорилъ. Сознавалъ ужъ, что свернулся и что назадъ ходу все равно нѣтъ. Ничего. Разсказывалъ, какъ трудно было выдержать. Его два раза изъ тюрьмы въ охранку требовали и назадъ отсылали. Потомъ ужъ, когда ушелъ, да съ воли опять письмо написалъ,—поддались, повѣрили. Съ воли пишетъ,—ну, значитъ, дѣйствительно. Да и то...

— А что?—спросилъ Потапъ Потапычъ.

— Нелегко было. На умницу одного здѣшняго наскочилъ. Ужъ онъ его и такъ, и этакъ... Петя все держится. Наконецъ тотъ взялъ его за плечи, толкнулъ къ зеркалу,—большое зеркало у него въ кабинетѣ,—и шепчетъ: „Посмотрите. Хорошо вы разсказываете, а глаза-то у васъ лгутъ. Ну да ладно!“ Бросилъ Петю и вышелъ за портьеру. Петя не будь дуракъ,—къ портьерѣ—и заглянулъ. А тамъ—двое... и кто!

Юсъ наклонился и шепнулъ что-то на ухо Потапу Потапычу.

— Да нѣтъ?—изумленно проговорилъ тотъ.

— Право. Иванъ Николаевичъ и... самъ. Вмѣстяхъ. Петя утверждалъ положительно.

Потапъ Потапычъ вздохнулъ и улыбнулся.

— Что жъ, все возможно. Ну и какъ же?

— Да такъ же, приняли все-таки. Умница-то, однако, себѣ на умѣ. Не пошелъ тогда на Выборгскую, къ Петѣ въ гости, цѣлъ и остался.

Въ комнатѣ все тѣ же ненастныя, неподвижныя сумерки. Самоваръ погасъ. Одна бутылка была уже выпита, давно начали другую. Яковъ заговорилъ о чемъ-то съ Юсомъ въ сторонкѣ, кажется, собирался уѣзжать. Хеся безшумно вышла изъ уголка и подсѣла ближе къ Потапу Потапычу и Наташѣ. Должно быть, разговоръ о Петѣ, котораго она знала мало, навелъ ее на какія-то тревожныя общія мысли. Высказать ихъ она, однако, или не хотѣла, или не умѣла.

Чай, коньякъ, Наташа, такая строгая и куда-то уходящая, вдругъ посторонняя, да еще воспоминанія о Петѣ, разнѣжили Потапа Потапыча. Ему хотѣлось вести обыкновенный, недѣловой разговоръ, вспоминать о своемъ, хотя бы о томъ же Петѣ, но, главное, разсказывать безполезно, просто чтобы разсказывать. Дьячихина комнатка—дача, куда онъ пріѣхалъ въ гости къ этой милой барышнѣ, уже не „това-

рицу", не „сестрицѣ", а просто славной чужой дѣвушкѣ. Когда Потапъ Потапычъ бывалъ „въ гостяхъ"? Онъ и не помнитъ. Хорошо бы даже совсѣмъ о чемъ-нибудь другомъ поговорить, но хочется говорить о Петѣ, да и не знаетъ онъ ничего такого „другого".

— Въ Петиной жизни странные случаи бывали,—начинаетъ онъ.—Если бъ написать—сказали бы, что придумано. Вотъ когда въ первый разъ... знаете, съ рабочимъ Гришей?

— Нѣтъ,—откликнулась Хеся.—Я про Петю вообще мало знаю.

Наташа спросила:

— Онъ, вѣдь, въ Заволжьѣ былъ учителемъ сначала?

— Да, да, какъ же! Вы слышали?

— Мы сами съ Волги,—тихо и тепло сказала Наташа.—Да, мы ужъ давно тамъ не были... И мѣсто другое... Я такъ, стороной слышала...

— Ну вотъ, это было послѣ его учительства. Не очень давно. Разсказывалъ мнѣ Петя,—чуть ли не въ послѣдній разъ мы и видѣлись съ нимъ тогда!—Хожу, говоритъ, я по комнатѣ, хожу, а Гриша, рабочій, тутъ же въ ступкѣ... толчетъ. Толчетъ и растираетъ. Вечеромъ дѣло было. Сталъ я думать: зачѣмъ это онъ такъ толчетъ? Лучше бы онъ поосторожнѣе. И хочу ему это сказать. Только что хотѣлъ—какъ сразу все провалилось, исчезло, и Гриша, и ступка, и я самъ, точно меня не бывало. Однако, черезъ сколько-то времени, чувствую—опять я; кругомъ темнота, но все же немного видно (ночь была свѣтлая, и снѣжокъ). Лежу я на полу и какъ будто умираю. Разглядѣлъ близко Гришино лицо. Тоже лежитъ, а лицо такое, что этотъ-то ужъ и сомнѣнья нѣтъ—умираетъ. Тихо. Гриша посмотрѣлъ на меня, шепчетъ: прости меня: я провокаторъ... И умеръ сейчасъ же. Я полежалъ еще немного и поползъ.

— Какая же рана у него была?—спросила Наташа.

— Въ ноги и въ животъ. Онъ, вѣдь, и потомъ плохо поправился, больной былъ.

— Такъ какъ же онъ ползъ?

— А такъ, на рукахъ. Ноги, какъ мертвыя, за собой тянетъ. И, главное, ползти-то надо съ лѣстницы, со второго этажа. Едва говоритъ, сволокъ ихъ, все отдыхалъ. И пока отдыхаетъ—безъ сознанія.

— Ну, и выползъ? Ушелъ?

— Выползъ наружу, дворомъ ползетъ, и, наконецъ, ужъ, этакъ, задворками, по снѣгу. Вдругъ слышитъ шумъ (послѣ узналъ, что долго не понимали, гдѣ взорвало)—и бѣжитъ ему навстрѣчу баба. Бѣжитъ, запыхалась, увидала и начала кому-то: „здѣсь, здѣсь, сюда, вотъ онъ, вотъ онъ!“ Петя говоритъ—горько ему какъ-то тутъ стало, поглядѣлъ онъ на нее и только смогъ сказать: „Ты, вѣдь, женщина“... Она будто поняла, замолкла и зашептала вдругъ: „ну, ну, ползи, сюда, ползи сторонкой...“ и указываетъ за сараи. Сама будто ничего, дальше пробѣжала. А онъ мимо сараевъ, у забора, въ переулокъ выползъ. Дальше ползетъ. Канава глубокая. Ему канавы не перелѣзть, ноги мертвыя мѣшаютъ. На перекресткѣ три мужика стоятъ, глядятъ—и ничего. Одинъ говоритъ: „а вѣдь уползетъ“. Другой говоритъ: „нѣтъ, околѣетъ“. А третій: „все равно, начальство поймаетъ“. Подошелъ и ноги ему въ канаву скинулъ сапогомъ. Ну, Петя въ канавѣ безъ сознанія сколько-то полежалъ, очнулся, вытащился и опять дальше. Ужъ какъ будто и къ утру дѣло. Видитъ, извозчикъ порожній ѣдетъ шагомъ и на него глядитъ. Петя взмолился: „голубчикъ, возьми ты меня, свези вотъ туда-то!“ Извозчикъ смотритъ, что за нимъ кровь по снѣгу, и головой качаетъ: „нѣтъ, говоритъ, санки испортишь“. „У меня, вотъ, съ собой пятьдесятъ рублей, возьми двадцать пять, только свези“. Извозчикъ подумалъ, сошелъ съ козелъ, деньги взялъ и говоритъ: „Ну такъ и быть, лѣзь“.

— Неужели довезъ, куда надо?—недовѣрчиво спросила Хеся.

Потапъ Потапычъ махнулъ рукой и засмѣялся.

— Довезъ! Онъ довезъ! Петя, какъ вскарабкался въ санки, опять сознаніе потерялъ, и вѣрно ужъ надолго. Очнулся—извозчикъ стоитъ, свѣтло, галдятъ, кругомъ народъ, мужичье, на санки напираютъ, а надъ Петей, какъ насѣдка, человѣкъ со свѣтлыми пуговицами, лицо знакомое, кричитъ, зоветъ кого-то, и своимъ тѣломъ Петю отъ народа заслоняетъ. Извозчикъ-то, не будь дуракъ, въ участокъ его привезъ; народъ собрался, озлобились и съ Петей хотѣли расправиться, долго не дожидаясь. Исправникъ только и спасъ.

— Исправникъ?

— Да, надо же! Онъ этого исправника самаго съ годъ тому назадъ отъ смерти спасъ. Въ половодье тотъ Волгу переѣзжалъ, тонуть стали, а Петя ловкій былъ, сильный, кинулся, и его вытащилъ, и лошадей спасъ. Исправникъ тоже человѣкъ, онъ какъ узналъ его—попомнилъ. Вотъ я и говорю,—удивительно! Въ романахъ даже, и то такъ не случается.

Наташа печально посмотрѣла на Потапа Потапыча и ничего не сказала. А Хеся шепнула:

— Взяли его, значитъ, все же тогда?

— Взяли. Да дѣло всячески стали заминать, потому что, дѣйствительно, этотъ Гриша рабочій былъ провокаторъ, боялись, что на судѣ этого не обойти. Не знаю, чѣмъ бы кончилось. Только Петя и тогда ушелъ, совсѣмъ еще больной на руки товарищамъ выбросился.

— Я одного не понимаю, Потапычъ... — начала робко Хеся.

Ее прервалъ Яковъ. Они съ Юсомъ все, должно быть, переговорили. Коньяку больше не было.

— Я двигаюсь,—сказалъ Яковъ.—Теперь сейчасъ итти—

можно еще даже на дальнюю платформу попасть. До свиданія, Наталья Филипповна, благодаримъ на угощеньи.

— Да что же, ѣхать такъ ѣхать,—поддержалъ Юсъ.— Я съ тобой на дальнюю, а Потапыча мы сюда доведемъ, и Хесю.

Всѣ поднялись. На дворѣ были тѣ же незакатныя, ненастныя сумерки, нельзя было понять, рано или ужъ поздно.

— Ну, прощайте, милая вы моя,—ласково сказалъ Потапъ Потапычъ.—Пошли вамъ судьба чего хорошаго. Каждый въ своей жизни воленъ, это не надо забывать.—И вдругъ прибавилъ тише:—А васъ какъ здѣсь зовутъ-то?

— Анна Максимовна. Развѣ не знаете?

— Прослышалъ. Такъ путь вамъ добрый, Анна Максимовна, спасибо за чай и за бесѣду, еще разъ спасибо!

Онъ жалъ ей руку, и опять хотѣлось ему думать, что вотъ онъ побывалъ на дачѣ, въ гостяхъ у своей знакомой, Анны Максимовны, попилъ чайку, какъ всѣ добрые люди, и поболталъ о своемъ.

Хеся поглядѣла-поглядѣла, помигала черными рѣсницами и сказала:

— А я, пожалуй, ночевать здѣсь останусь.

И взглянула на молчаливую Наташу. Наташѣ было не жаль ея, но почему-то страшно показалось остаться сейчасъ совсѣмъ одной въ этой низкой сѣрой комнатѣ. И она сказала:

— Оставайтесь.

Дождикъ къ ночи усилился, съ высокихъ березъ вѣтеръ сгонялъ крупныя капли на крышу, и тогда онѣ стучали по дереву странно, и глухо и гулко, словно лошадь била копытомъ.

Отъ розовой дьячихиной лампадки на цѣпочкахъ (дьячиха зажигала ее у Наташи каждый день) ходили по потолку лапастыя тѣни, оконца потускли.

Хеся лежала на полу (не согласилась лечь на Наташину

кровать) на какой-то подстилкѣ, укрывшись своимъ пальтецомъ. Наташѣ тоже не спалось. Вѣтеръ шумѣлъ въ березахъ, стучали копыта по деревянной крышѣ.

— Какъ я его люблю, ахъ, если бъ вы знали, какъ я его люблю, Наташа!—говорила Хеся полушопотомъ, однимъ вздохомъ.—Вы не спите, Наташа?

— Нѣтъ, не сплю.

Хеся повернулась на подстилкѣ, и видно было, какъ она закинула смуглыя руки за голову.

— Простите, Наташа, я сама не знаю, зачѣмъ это я говорю. Но такъ тяжело мнѣ. И ничего я, ничего для него не могу сдѣлать. Эта... дѣвочка, къ которой онъ меня пристроилъ теперь, развѣ онъ ее любитъ? Нѣтъ, Наташа, и она его не любитъ, да и никто, никто его не любитъ! А онъ и не знаетъ, какой онъ несчастный!

— Хеся, вы про Юрія говорите? Ну, такъ я васъ не понимаю. Его, напротивъ, всѣ любятъ, и, право, онъ счастливѣе насъ съ вами.

— Какая жизнь, Богъ мой, какая жизнь!—продолжала шептать Хеся, не слушая.—У него матери не было, онъ матери не зналъ, Наташа. Я его, должно быть, за несчастіе и полюбила. Матерью, сестрой родной хотѣла бы ему стать, вотъ бы чѣмъ! Развѣ я для себя?

Помолчала и снова:

— Я одно время, Наташа, думала, что васъ онъ полюбитъ. И вы... вы бы поняли. Я такъ радовалась. Но вѣдь нѣту этого?

— Нѣтъ,—сказала Наташа медленно.—Нѣтъ. Да развѣ его...

Она хотѣла сказать: развѣ можно Юрія любить? Но не сказала, поправилась:

— Развѣ нужно его любить? Если для него, то ему никакой такой любви, о которой вы говорите, не нужно. У

него своя мудрость, Хеся. Вы его не знаете. А я недавно вдумалась въ то, что онъ говоритъ, и право... развѣ только позавидовать ему можно.

Хеся приподнялась въ тоскѣ и сѣла.

— Ахъ, Наташа! Не надо этого! Не надо! Онъ самъ себя не понимаетъ, и вы его не понимаете, и никто, одна я, потому что люблю! Я сказать не умѣю. Вы вотъ завидуете его счастью; что же, вы его „мудрость" приняли, что ли? Вотъ вы изъ прежняго уходите, такъ хотите развѣ быть, какъ онъ?

— Нѣтъ... я хотѣла бы... но не могу,—съ усиліемъ сказала Наташа.—Я ужъ устала, измучилась, состарѣлась, отравлена... Но я бы хотѣла.

Хеся примолкла; не умѣла отвѣтить; а Наташа думала, думала со злобой о томъ, что, дѣйствительно, она уже разбита и отравлена, и ничего изъ ея новой жизни не будетъ. Развѣ она сумѣетъ быть веселой для себя, просто веселой оттого, что живетъ? Развѣ сумѣетъ легко влюбиться въ перваго, кто понравится, и потомъ забыть его, отвернувшись, искать игры и невинной пѣны дня? Одно это осталось, потому что прежнее обмануло; но на это силъ такъ же нѣтъ, какъ и на прежнее.

„Въ самомъ дѣлѣ, цвѣты, что ли, я по фарфору буду рисовать?" вспомнила она и злобно усмѣхнулась надъ собой. Повернулась она опять къ Хесѣ.

— Хеся, скажите мнѣ. Все равно, такъ ужъ случилось, что мы начистоту говоримъ. Скажите, отчего вы... не уходите изъ дѣла? Юрій ушелъ, вы бы все-таки ближе къ нему могли быть, если бы тоже... Узнали бы его лучше... Можетъ, онъ правъ?..

— Нѣтъ, Наташа,—тихонько сказала Хеся.—Я уйти никакъ не могу. Какъ я уйду? Не умѣю выразить, но чувствую, что тогда и любить мнѣ Юрія будетъ нечѣмъ. Не могу я

все равно безъ идеи жить,—прибавила она жалостно и наивно.—Онъ въ своемъ, онъ не думаетъ,—такъ неужели я откажусь... не буду жить... и за него, и за себя?..

— Вы странная, странная... И глупая... Упрямая...—разсердилась Наташа.—Все это пустое. Самообманъ. Душеспасеніе, если хотите. Не могу жить „безъ идеи!“ Скажите! А если идея-то гораздо лучше будетъ жить безъ васъ? Тогда какъ? Идея должна двигаться, мѣнять форму, должна крылья новыя растить, а вы, можетъ, ей только мѣшаете?

Хеся ничего не поняла, испугалась за Наташу.

— Я не знаю, о чемъ вы...—прошептала она.—Я не про то говорила. Да зачѣмъ намъ объ этомъ? Вы не сердитесь, ну, будемъ спать.

Молчаніе. Вдругъ изъ темноты опять зашелестѣлъ было голосъ Хеси:

— Михаилъ...

— Молчите о Михаилѣ! Молчите!

Наташа чуть совсѣмъ не вскочила съ постели.

— Ни слова о Михаилѣ! И я не знаю, что съ нимъ будетъ, и вы не можете понять, гдѣ онъ теперь и чего хочетъ! Личиками еще мы съ вами для этого не вышли, да и не надо! Но судить впустую я тоже не хочу. И не позволю.

Хеся совсѣмъ затихла, даже дыханія ея не было слышно.

— Ну, спите, Хеся, ничего,—мягче сказала Наташа, опомнившись.—Вѣдь это не обида. Такъ... Я зла, очень зла. Оттого, что и я, можетъ быть... тоже очень несчастна. Я никого не люблю и, кажется, не могу ужъ никого любить. Не знаю, нужно ли даже любить. Я—какъ Юрій... только въ томъ и разница, что все ему даетъ радость, а мнѣ все—страданіе... Прощайте же, Хеся, спокойной ночи. Простите меня.

Она отвернулась и закрылась съ головой одѣяломъ, пряча глаза отъ лапчатыхъ тѣней лампадки. Шумѣли березы. Деревянно и гулко стучали по крышѣ копыта дождя.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Троебратство.

Въ чайной на баркѣ, гдѣ всякаго люда бываетъ довольно и всякіе разговоры ведутся, Михаилъ опять сидѣлъ со своимъ новымъ знакомцемъ—Лавромъ Иванычемъ. Это уже въ третій разъ они видѣлись.

Тогда, послѣ собранія, Лавръ Иванычъ подождалъ Михаила на тротуарѣ, сразу съ нимъ заговорилъ, потомъ они походили по улицамъ часа полтора. И стали встрѣчаться. Михаилу понравились острые глаза, говоръ и то, о чемъ заводилъ бесѣды новый знакомецъ. Несмотря на привычку обязательнаго недовѣрія, Михаилъ не могъ отнестись къ нему съ подозрѣніемъ: видно было, что это человѣкъ совсѣмъ изъ другого какого-то міра, неизвѣстнаго, занятъ чѣмъ-то своимъ, занятъ Михаиломъ потому, что „о мысляхъ его любопытствуетъ“, а больше ничего.

Жизнь Михаила такъ сложилась, что онъ почти отвыкъ отъ людей. Давно уже зналъ немногихъ и все одинаковыхъ; разговоры между этими одинаковыми тоже были почти всегда одинаковые. И отъ Лавра Иваныча дохнуло на него если и не свѣжимъ воздухомъ, то во всякомъ случаѣ другимъ, незнакомымъ.

Михаилъ уже зналъ, что Лавръ Иванычъ не „сектантъ“ (какъ сначала подумалось), а бывшій старовѣръ. „Послѣ пошелъ въ единовѣріе, ну, и это какъ-то у меня не вышло“ признавался онъ. „Нынѣ, можно сказать, ни тамъ, ни здѣсь, прямо нигдѣ, все книжки почитываю, міръ пытаю“. Онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ очень серьезно начитанъ. „Времени много, торговля налажена, идетъ себѣ потихоньку, а человѣкъ я одинокій“.

Михаилъ въ этотъ вечеръ былъ пасмуренъ. Раздражалъ граммофонъ, раздражали и двое парней за сосѣднимъ столикомъ, пьяныхъ, которые, однако, говорили о „божественномъ". Старыя мысли о себѣ раздражали, наянливыя. „Что жъ, думалось, и я, какъ Лавръ Ивановичъ: ни тамъ, ни здѣсь, прямо нигдѣ".

— А вотъ еще желалъ я васъ нынче спросить,—сказалъ Лавръ Иванычъ:—знаете вы тутъ троебратство одно?

— Троебратство? Нѣтъ, я вѣдь никого не знаю. Это что же, секта какая-нибудь?

— Нѣтъ, зачѣмъ? Такъ, мы между знакомыми называемъ. Я нынче туда побывать хочу, въ гости, такъ вмѣстѣ, если угодно, поѣхали бы.

Михаилъ насупился.

— Я не могу ѣхать неизвѣстно къ кому. Да и зачѣмъ мнѣ?

— Отчего же? Вотъ мы съ вами побесѣдовали, сдружились. Ихъ бы поглядѣли тоже, коли не знаете. Это старецъ одинъ, потомъ племянникъ его, хроменькій, ну, и мастеровой еще съ ними живетъ.

— Старецъ? Какъ же вы говорите—не секта? Учитель, что ли, ихній?

— Нисколько не учитель. Старецъ—я сказалъ въ томъ смыслѣ, что ужъ почтенныхъ лѣтъ человѣкъ...

Къ великому изумленію Михаила Лавръ Ивановичъ объяснилъ, что „старецъ" профессоръ и фамилія его Саватовъ.

— Какъ, тотъ самый Саватовъ, извѣстный?

— Да, онъ многимъ извѣстенъ. Теперь ужъ онъ лекціи только на однихъ женскихъ частныхъ курсахъ читаетъ. Непріятности у него въ свое время бывали. Да онъ такой еще бодрый.

— А племянникъ?

— Племянникъ здоровья слабаго. Онъ археологіей, что ли, занимается.

— Я не понимаю, о какомъ же вы троебратствѣ? И при чемъ тутъ мастеровой?

— А они втроемъ живутъ, вмѣстѣ и какъ бы въ однѣхъ мысляхъ. Ничего, въ согласіи живутъ. И Сергѣй Сергѣевичъ, мастеровой этотъ, ихній же. Сергѣй-то Сергѣевичъ семейный, да жена не захотѣла, не согласна, что ли, въ чемъ-то, ну, такъ она отдѣльно живетъ съ дѣтьми, въ гости другъ къ другу ходятъ.

— Странно!—сказалъ Михаилъ.—Какія же у нихъ мысли? Право, на секту похоже.

— Мысли обыкновенныя, разныя, я къ тому сказалъ, что онѣ у нихъ согласныя. Вы сами спросите, коли поѣдете. Гостямъ тамъ всегда рады. Между прочимъ иные ихъ еще „временщиками" зовутъ, ну, да это такъ: потому что у нихъ свое мнѣніе о временахъ.

— О временахъ?

— Да, насчетъ исторіи. Что всякое время свою правду оправдываетъ и нужно прежде всего времена узнавать, ну, и такъ далѣе.

— Пожалуй, поѣдемте,—сказалъ Михаилъ, вставая.— Я что-то васъ не понимаю, но если это Саватовъ, я могу поѣхать на часокъ. Куда ни шло. Только какъ же вы повезете незнакомаго? Вѣдь и вы меня не знаете.

— Это что!—улыбнулся Лавръ Иванычъ, махнувъ рукой, и они отправились.

Дорогой, пока ѣхали въ трамваѣ, Михаилъ старался припомнить все, что когда-нибудь слышалъ о Саватовѣ. Но ничего опредѣленнаго не вспомнилъ. Говорили о немъ просто, какъ объ „извѣстномъ ученомъ"; когда-то онъ „пострадалъ", но это было давно и, главное, все внѣ тѣхъ интересовъ, которыми послѣдніе годы жилъ Михаилъ.

Идя по узкому переулку рядомъ съ Лавромъ Иванычемъ, у самаго дома Саватова, Михаилъ вдругъ вспомнилъ, что

онъ одѣтъ нынче рабочимъ, въ синей рубашкѣ и въ картузѣ. Стало стѣснительно почему-то и кстати пришло въ голову, что же о немъ Лавръ Иванычъ подумаетъ?

— Я... въ такомъ костюмѣ сегодня...

— Это ничего, ничего,—ободрилъ его Лавръ Иванычъ.— Они и такъ узнаютъ, какого вы званія человѣкъ.

Михаилу стало совсѣмъ не по себѣ.

— Что такое узнаютъ? Что имъ знать? Да куда вы меня ведете?

Лавръ Иванычъ удивился. Поглядѣлъ остро.

— Экій какой у васъ духъ неспокойный, Господи Боже,— сказалъ онъ съ грустнымъ упрекомъ.—Страха человѣчьяго бояться—съ человѣками не знаться. Да вотъ ужъ мы и пришли.

Маленькая чистая квартирка въ деревянномъ домѣ. Въ длинной столовой накрытъ чай. Дверь гостямъ отперъ коренастый человѣкъ въ такой же синей рубашкѣ, какъ у Михаила. Провелъ ихъ въ столовую, самъ сѣлъ за самоваръ.

Худенькій старичокъ съ подстриженной бѣлой бородкой поднялся съ кресла. Михаилъ замѣтилъ, что кресло было старинное, красивое. Тутъ же, у стола, сидѣлъ за книгой третій человѣкъ, рыжеватый, съ блѣдными щеками и очень веселыми темными глазами.

— Ага, здравствуйте,—сказалъ старикъ живо, подавая руку Михаилу.—Вы съ Лавръ Иванычемъ? Васъ, Лавръ Иванычъ, я какъ будто давно не видалъ.

Лавръ Иванычъ отеръ бородку ситцевымъ платкомъ и сѣлъ.

— Давно-съ, давно. Зачитался я. Людей позабылъ. Ну, какъ вы?

— Да ничего, помаленьку,—отвѣтилъ человѣкъ въ синей рубахѣ, Сергѣй Сергѣевичъ.—У меня сынишка боленъ былъ на той недѣлѣ, чуть не померъ.

Рыжеватый весело улыбнулся.

— Отходили, теперь ничего,—сказалъ онъ.

Разговоръ завязался. Лавръ Иванычъ сталъ разсказывать о собраніи, о рѣчи Юрія Двоекурова и сталъ опять волноваться. Разсказалъ очень связно и понятно.

— Ну, не чортова ли кукла?—закончилъ онъ сердито.— Ну, статочное ли дѣло?

Саватовъ улыбался.

— Браниться-то не для чего, не для чего. Вѣдь никого не вразумили? А впрочемъ—что жъ? И побраниться иной разъ хорошо.—Подумалъ, прибавилъ:—Я этого студента знаю. Хорошо. И давно. Красивенькій. Не очень интересный, а непріятный.

— Вотъ вы какъ, осуждаете! — сказалъ Михаилъ, все время молчавшій.—И это невѣрно: Двоекуровъ именно пріятный.

— Я не въ осужденіе сейчасъ сказалъ, хотя почему нельзя осудить? Студентъ, если хотите, не непріятный, а страшный.

— Почему это?

— Да потому, что онъ не интересенъ, а кажется интереснымъ. Его, можетъ быть, вовсе нѣтъ, а кажется, что онъ есть.

— Этой мистики я не понимаю!—рѣзко сказалъ Михаилъ.

Рыжеватый племянникъ взглянулъ на него удивленно.

— Отчего вы сердитесь?

Они всѣ трое глядѣли на него съ удивленной ласковостью. Михаилъ смутился, но вдругъ вспыхнулъ.

— Оттого, что я не понимаю ни себя, ни васъ! Для чего я къ вамъ пришелъ? Точно у меня такъ много времени! И что вы всѣ такое? Почему у васъ троебратство, что за чепуха?

Старичокъ Саватовъ, глядя на него, тоже разсердился.

— Достаточно у васъ времени, не торопитесь! Почему

чепуха? Называйте какъ хотите, хоть пустогономъ, отъ слова не станется. А почему намъ не жить вмѣстѣ, если мы этого хотимъ и намъ это нравится?

Дѣйствительно, почему не жить? Михаилъ не зналъ.

— Если другъ другу въ глаза посмотрѣть,— сказалъ Сергѣй Сергѣевичъ,—да увидишь тамъ согласное, такъ ужъ захочешь вмѣстѣ жить, да!

Племянникъ засмѣялся.

— Сережа, запроповѣдывалъ!

— Нѣтъ, какая проповѣдь! — началъ торопливо Михаилъ.— Разъ ужъ я здѣсь, то мнѣ, дѣйствительно, хотѣлось бы понять, что вы за люди, какія это такія у васъ „согласныя мысли", что васъ связываетъ и что вы дѣлаете вмѣстѣ?

— Сколько вопросовъ сразу! — засмѣялся Саватовъ.— Мы люди самые обыкновенные. Мысли тоже у насъ обычныя, въ нѣкоторыхъ, самыхъ главныхъ, мы, дѣйствительно, согласны. Это насъ и связываетъ. А дѣлаемъ мы вмѣстѣ... очень мало дѣлаемъ. Вотъ это бѣда! Очень мало!

— Куда намъ! — грустно сказалъ племянникъ.— Мы книжные, мы тряпки. Живемъ — и все.

Сергѣй Сергѣевичъ вздохнулъ.

— Что жъ! Я бы подѣлалъ. Да не выкрутиться. Пристать не къ кому. Свое заводить — некогда.

— Вотъ вы бы свое завели,— сказалъ вдругъ Саватовъ, пристально глядя на Михаила.

Племянникъ кивнулъ головой.

— Да, онъ непристанный. Ему бы хорошо свое. Рано?

— Что такое свое? Что рано? — опять разсердился Михаилъ.— Загадки какія-то! Ничего не понимаю.

Саватовъ поднялся.

— Пойдемте-ка, друзья, въ кабинетъ. Тамъ сидѣть лучше. Поговоримъ попросту. Да не сердитесь вы,— кивнулъ онъ

Михаилу,— мы сами сердитые, и между собой-то бранимся, а тутъ вы еще! У насъ никакихъ секретовъ нѣту, вы простыхъ самыхъ вещей не понимаете!

Идя сзади, Сергѣй Сергѣевичъ бурчалъ:

— Въ чужіе-то глаза глядя, мы наметались людей признавать. Сейчасъ же ужъ и маячитъ. Привычка!

Давно ушелъ Лавръ Иванычъ, къ полночи приближалось, а Михаилъ все еще сидѣлъ въ тѣсномъ, мягкомъ кабинетѣ Саватова, уставленномъ книгами. Хроменькій племянникъ умостился въ креслѣ, Сергѣй Сергѣевичъ на подоконникѣ; онъ курилъ толстыя папиросы.

Говорили всѣ, говорили о простыхъ вещахъ, и такъ, будто и хозяева, и гость давнымъ-давно другъ друга знаютъ. Случилось это незамѣтно. Михаилъ пересталъ недоумѣвать, зачѣмъ они живутъ вмѣстѣ и зачѣмъ онъ къ нимъ пришелъ.

Лавръ Иванычъ ему больше нравился; Саватовъ же казался похожимъ на старую, безпокойную птицу; рыженькаго онъ жалѣлъ за хромоту; но съ ними и съ Сергѣемъ Сергѣевичемъ говорить было свободнѣе, чѣмъ съ Лавромъ Иванычемъ, который все гнулъ на возвышенное.

— Я самъ былъ партійнымъ человѣкомъ, — рокоталъ Сергѣй Сергѣевичъ съ подоконника.— Это дѣло хорошее. Ну, однако, приходитъ такой моментъ, что сколько словъ одинакихъ ни говори, а настоящаго согласія не получается. Тутъ вѣдь не такое какое-нибудь „товарищество“ дѣловое, торговое, тутъ весь человѣкъ требуется. А партія — она на мнѣніяхъ. Скажете — и на дѣлахъ. Да вѣдь на какихъ? И по дѣламъ ничего не узнаете въ человѣкѣ, если захочетъ онъ отъ васъ скрыться.

— Какъ ты путано говоришь,— перебилъ Саватовъ.— Но, конечно, теперь слово „партія“ должно больше обозна-

чать, и чтобы крѣпко было, какъ прежде, нужно бы другъ друга знать куда полнѣе. Основы глубже подводить.

— Не могутъ же триста человѣкъ такъ знать другъ друга, какъ трое? — сказалъ Михаилъ.

— Отчего? Могутъ! Откуда взглянуть на человѣка. Съ однимъ два слова сказать, съ другимъ чаю напиться, съ третьимъ помолчать вмѣстѣ важно. Вы не смѣйтесь, голубчикъ, я совершенно серьезно это говорю.

— Не думаю смѣяться. Если у васъ есть секретъ, какъ узнавать людей, научите!

— Какой секретъ! Да не бойтесь, сами научитесь, все придетъ. Не обойтись. Ширится человѣкъ — ну и надо на него повнимательнѣй смотрѣть, не протокольно: гдѣ родился, да когда скрывался, какой у тебя послужной списокъ.

— Идеалистъ вы...— усмѣхнулся Михаилъ и прошелъ по комнатѣ.

— Мы книжные,— вздохнулъ хроменькій,— это правда. Поздно ужъ самимъ въ жизнь опять бросаться. Но идеализмомъ я эту нужду въ болѣе серьезномъ и широкомъ сближеніи людей не считаю.

— Нужда великая! — проговорилъ Сергѣй Сергѣевичъ.— И что жъ! Я-то пошелъ бы еще, поработалъ бы съ хорошими людьми. Вотъ къ вамъ бы пошелъ,— прибавилъ онъ, глядя на Михаила.— Люди есть. Небось, и у васъ есть, да не знаете вы ихъ.

Михаилъ опомнился на минуту. О чемъ они говорятъ?

— Есть, есть люди, — подхватилъ Саватовъ. — Люди всегда есть. Хотя бы учеництъ моихъ взять, курсистокъ,— сколько ихъ у насъ бываетъ! Я это говорю для примѣра. Во сколькихъ великолѣпный огонь горитъ! Двадцать пять лѣтъ тому назадъ она бы Перовской, Вѣрой Фигнеръ очутилась, а теперь ужъ ей этого мало; у нея душа-то шире; надо итти,— а некуда, не къ кому. И бросится скорѣе не

знаю куда, въ Троице-Сергіевскую лавру пѣшкомъ пойдетъ, вконецъ и себя, и огонь свой погубитъ, а въ Вѣры Фигнеръ не пойдетъ. Хоть и святое мѣсто, да ужъ прошлое, остыло оно. Нынѣшніе хорошіе люди тамъ не помѣщаются.

— Значитъ, на прежнихъ-то людяхъ крестъ поставить?

— Ну, какой крестъ! Человѣкъ, во времени, всякій мѣняется.

Хроменькій вышелъ, ковыляя, принесъ бутылку бѣлаго вина и четыре стакана.

— Экій ты какой,— сказалъ Сергѣй Сергѣевичъ и посмотрѣлъ на него нѣжно.— Сказалъ бы, я бы самъ принесъ.

А Саватовъ опять къ Михаилу:

— На вашемъ мѣстѣ вамъ переголить хорошо. Осмотрѣться. Что жъ такъ бѣжать, по инерціи.

— Уйти, что ли? Какъ? Различно уходятъ. Юрій Двоекуровъ ушелъ... просто надоѣло. Сестра моя ушла... или уходитъ — руки опустились. Да что объ этомъ говорить: нельзя мнѣ уйти. Некогда осматриваться.

И онъ опять разсердился на себя.

— О чемъ мы говоримъ? И съ какой стати?

— О васъ говоримъ,— сказалъ хроменькій.— Право, не торопитесь. Будетъ вѣрнѣе. Какъ же не оглядѣться? Времена ужъ двинулись, и у самого-то у васъ, должно быть, требованій прибавилось.

— Нѣтъ, что мы намеками да намеками,— произнесъ Михаилъ взволнованно и сѣлъ.— Я вижу, вы кое-что знаете, но мало, какъ всѣ со стороны. Я вѣрю, что вы друзья (вотъ, толкую съ вами!). Но и вы мнѣ повѣрьте: не могу я уйти теперь, именно теперь, именно я! Не могу. Все равно, что тамъ во мнѣ ни дѣлается, это все равно. Это я долженъ въ карманъ спрятать, какъ будто и нѣтъ ничего, и не ради же себя! А ради тѣхъ, которые не перемѣнились, не выросли, но и не измѣнили! Куда же я ихъ-то

дѣваю? Расшаркнуться, до пріятнаго свиданья, я по-своему буду дѣлать, у меня, молъ, кругозоръ расширился, вамъ за мной не угнаться? А какъ они это поймутъ? И они не виноваты, что поймутъ, какъ предательство. Вѣдь я не ихъ мнѣнія о себѣ боюсь, я дѣйствительно боюсь предать ихъ, бросить, непонимающихъ, разбитыхъ, на тяжкомъ поворотѣ дороги. Шли-то вмѣстѣ! Не могу я ихъ тутъ оставить, вѣдь, это даже не передъ одними живыми будетъ измѣна, но и передъ мертвыми!

— А если дѣло требуетъ?—крикнулъ на всю комнату Сергѣй Сергѣевичъ.—Небось, думка-то ужъ есть, не отвертитесь, что на старыхъ дрожжахъ, въ старой корчагѣ тѣсто замѣшивать,—старые хлѣба взойдутъ? Есть думка? И взойдутъ. Тогда какъ?

— Пусть,—дерзко сказалъ Михаилъ.—И я не дорогого стою. Куда мнѣ! Высоко не залечу, все равно. Меня къ землѣ тянетъ. Лучше со своими солдатами помереть, чѣмъ улепетнуть, чтобы свѣжій полкъ набирать. Гдѣ мнѣ? Пусть ужъ свѣжіе, какъ знаютъ.

Наступило молчаніе.

— Впрочемъ, что жъ?—сказалъ Михаилъ тише и поднялъ голову.—Я скрывать не стану, мнѣ и безъ васъ объ этомъ обо всемъ думается: Оттого, можетъ, и разговорился тутъ... Впередъ лбомъ я теперь и хотѣлъ бы, такъ не могъ бы ужъ сунуться. Я жду, жду, пока есть малѣйшая возможность. Совсѣмъ въ потемкахъ нельзя. А потемки я вижу. Надо ждать. Вы мнѣ вѣрите?

— Вѣримъ,—сказали Саватовъ и хроменькій.

А Сергѣй Сергѣевичъ прибавилъ:

— Трудно это, на точкѣ долго удерживаться. Ну, можетъ, надо еще. Много чего нынче въ потемкахъ вьется. Кабы глаза кошачьи, такъ разсмотрѣть можно.

Михаилъ вдругъ поднялся порывисто.

— Ну, прощайте. Поздно. Я пойду. Спасибо вамъ... Не знаю за что, а спасибо. Сергѣй Сергѣевичъ, правда: нѣтъ у насъ кошачьихъ глазъ, и даже человѣчьихъ нѣтъ, чтобы человѣка видѣть, какъ надо. Въ этомъ и бѣда вся.

Хроменькій улыбался ему весело.

— Будутъ, будутъ глаза. Это все будетъ, не бойтесь. Пока-то держитесь крѣпче. Въ свое, что есть въ васъ хорошее, вѣрьте.

— Мало хорошаго! — печально усмѣхнулся Михаилъ, и тутъ же, словно за нитку кто передъ нимъ продернулъ, увидалъ онъ свои дни и себя въ нихъ, то самоувѣреннымъ, то безсильно-злымъ, то порывисто-самоотверженнымъ, то мальчишески дерзкимъ, часто пошлымъ, часто холоднымъ, но всегда, тупо ли, остро ли,—страдающимъ.

— Что жъ, я привыкъ... одинъ,—пробормоталъ онъ, отвѣчая на какую-то свою неясную мысль.

Всѣ пошли провожать его въ переднюю.

— Нѣтъ, одному нехорошо, — сказалъ Сергѣй Сергѣевичъ.—И привыкать не къ чему. Одному—это ужъ нехорошо.

Хроменькій предложилъ:

— Можетъ, ночевать останетесь? У насъ въ квартирѣ никого. Прислуги не держимъ. Приходитъ утромъ старуха...

— Нѣтъ, нѣтъ, спасибо, я пойду,—отказался Михаилъ.— Спасибо вамъ.

— Зайдете еще когда?

— Врядъ ли... теперь. Врядъ ли увидимся.

— Увидимся,—съ увѣренностью сказалъ Сергѣй Сергѣевичъ.—Не теперь, такъ послѣ. Я бы съ вами пошелъ бы еще, поработалъ, право! Старыя-то дѣла да на новыхъ дрожжахъ, ухъ какъ бы взошли бы!

Михаилъ только вздохнулъ.

— Прощайте. Мнѣ вотъ одно жаль: говорилъ столько о

себѣ... А о васъ ничего толкомъ не знаю. Поразсказали бы, что вы, какъ такъ живете.

Друзья разсмѣялись.

— Да что жъ тутъ разсказывать?—удивился хроменькій.— Какихъ видите, такіе и есть. А о чемъ думаемъ, живя—это мы и другъ другу не все успѣваемъ разсказывать. Ваше же дѣло спѣшное.

Сергѣй Сергѣевичъ подумалъ-подумалъ, поставилъ свѣчку на подоконникъ и поцѣловалъ Михаила.

— Ну, простите. До свиданья, до будущаго. Пошли вамъ...

Старикъ Саватовъ, когда Михаилъ уже взялся за ручку двери, окликнулъ его:

— А я вамъ не говорилъ, какъ я этого студента знаю, Двоекурова? Я, вѣдь, у графини бываю, у старухи. Рѣдко, но бываю. Древнее у насъ, древнее знакомство. Графиня— особа ясная, жесткая, но она съ неожиданностями. А дѣвочка, внучка, пріятельница моя, очень она хорошая. Глаза такіе молчаливые.

— Вы ее видаете?—быстро спросилъ Михаилъ.—Да, хорошая дѣвушка, я знаю.

— Вотъ еще что, милый: если бы вамъ что понадобилось... мало ли что, можетъ же случиться?.. Если прислать кого... или извѣстить кого... Ну такъ прямо сюда, на имя племянника. Орестъ Ѳедоровичъ Денъ. Это я на всякій случай.

Орестъ закивалъ головой, улыбаясь:

— Да, да, на всякій случай.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Черныя улыбки.

Когда старая графиня узнала, что Саша Левковичъ раненъ и лежитъ въ больницѣ, то сжала сердито губы, пома-

хала въ лицо батистовымъ платкомъ и произнесла многозначительно:

— Rien de plus naturel! Несчастный глупый мальчикъ! Я этого и ожидала. Стоитъ разъ увидать эту... на комъ онъ имѣлъ глупость жениться...

Юрій, который докладывалъ графинѣ о происшествіи (очень кратко, въ общихъ чертахъ, просто, что Саша неопасно раненъ и случилось это у него, Юрія), удивился. Невольно подумалъ, что старуха не лишена проницательности.

— И что за манера!—продолжала графиня.—Ѣздить по чужимъ квартирамъ! Могъ бы и дома дѣлать свои глупости.

Помолчала сердито и прибавила:

— Такихъ женщинъ, какъ его жена, надо умѣть воспитывать. Нужно умѣть на нихъ руку положить,—перевела она съ французскаго.—А не умѣешь—такъ не женись! Не женись!

Юрій весело улыбнулся. Рѣшительно графиня разсуждала съ толкомъ.

— Vous avez raison, madame,—сказалъ онъ почтительно и лукаво.—Сашиной женѣ нехватало воспитанія. Но, слава Богу, тяжелый урокъ не прошелъ для нея даромъ. Она очень потрясена. Дни и ночи проводитъ въ больницѣ, около мужа. Будемъ надѣяться на лучшее.

— Что жъ? Прекрасно. Если она исправилась, прекрасно. Я только говорю, что и ему надо бы исправиться. А отъ глупости трудно исправленіе, вы это знаете, mon ami.

Юруля опять мысленно похвалилъ графиню. Самъ онъ не унывалъ, такъ какъ въ отношеніи Мурочки надѣялся на себя, а не на Сашу. У такихъ Мурочекъ память крѣпка на уроки.

Въ первый разъ Юрій навѣстилъ Левковича въ больницѣ, когда пуля была уже вынута и раненый поправлялся.

Онъ полулежалъ на высокихъ подушкахъ, желтый, съ от-

висящими усами, но чистенько выбритый и съ безпомощнымъ, радостнымъ лицомъ. Мурочка сидѣла у постели въ креслѣ, розовая, хорошенькая и серьезная.

Увидавъ Юрія, больной зашевелился, и лицо у него стало еще безпомощнѣе.

— Прости... прости...—шепталъ онъ, ловя здоровой рукой руку Юрія. — Прости меня... за безпокойство, — прибавилъ онъ, оглянувшись на Муру.—За всю тревогу, за все, что я...

— Ну, полно, полно,—весело перебилъ Юрій,—пустяки, слава Богу, дѣло прошлое.

— И повѣрь мнѣ, Юруля, я...

— Вѣрю, фу, какой ты скучный! Все къ лучшему, а онъ опять начинаетъ.

Мура нѣжно приникла къ мужу.

— Саничка, тебѣ вредно волноваться. И говорить много вредно. А то Юрій уйдетъ.

Больной робко, счастливо поглядѣлъ на Юрія, потомъ на Мурочку и замолкъ.

Стала говорить Мура. Сообщила, что у нихъ планъ: только что позволятъ доктора, они поѣдутъ за границу. Саша возьметъ долгосрочный отпускъ.

Юрій одобрилъ планъ.

— Отлично, поѣзжайте! Можетъ, и я васъ тамъ навѣщу.

Онъ не собирался за границу, сказалъ это для Мурочки. Она вся расцвѣла, кивала головой и глядѣла такъ, будто хотѣла сказать: „Ты не безпокойся, я помню и понимаю, видишь самъ, я умница“.

Выходя изъ лѣчебницы, Юрій облегченно вздохнулъ. „Фу, наконецъ-то! Тутъ пока налажено. Отпустили душу на покаяніе“.

Шелъ пѣшкомъ, по длинной, горячей линіи Острова, къ Невѣ. Стояла жара. Внезапно свалилась откуда-то, должно быть съ порыжевѣвшаго неба, и стала недвижно на петербург-

скихъ улицахъ, стала надъ блѣдной рѣкой. Разогрѣлись рѣшетки каналовъ и еще прозрачныхъ садовъ, разогрѣлся булыжникъ, томно и скучно запахъ пылью; а на набережной, отъ деревянныхъ торцовъ, понесло дегтемъ, тающей черной смолой.

Во внезапной и настойчивой петербургской жарѣ — безнадежность, какъ и въ дождѣ: лиловѣетъ небо, сѣрѣетъ незакатное солнце, потѣютъ торцы чернымъ потомъ, и точно никогда не кончатся эти неподвижные, безликіе, пыльные дни.

И Юрію стало странно-скучно. Захватила, затомила не бодрая жара. Показалось время ползучимъ, дома и люди маленькими, линялыми. Круглое небо тѣснило. Чудилось что-то, чему нѣтъ словъ. Чудилось, что сквозь фіолетовую небесную воздушность проступаютъ злыя черныя улыбки, темныя пятна, словно томился воздухъ подъ напирающимъ на него со внѣ безсвѣтнымъ и безграннымъ пространствомъ.

Вотъ уже не скучно, а страшно, страшно и холодно, несмотря на жару.

Юрій остановился надъ Невой, тупо глядѣлъ на воду, на какой-то пароходъ, на барки, на мужиковъ, таскающихъ тесъ.

Все было, какъ и раньше было. Однако небо продолжало казаться ему чернѣющимъ, точно во время затменія, съ желѣзными отблесками. Міръ меркъ, притворялся, что хочетъ закатиться. Издѣвательски улыбалась надъ міромъ медленная внѣшняя чернота — внѣшняя смерть.

— Я просто нездоровъ!—вслухъ прикрикнулъ на себя Юрій, стараясь освободиться изъ-подъ нежданнаго дневного кошмара. И двинулся быстро впередъ. Но чернота, смерть поплыли за нимъ, заглядывали въ глаза, словно дразня.

„Какой вздоръ, вздоръ... Это нервы утомились. Надо на Фонтанку, къ графинѣ, запрусь и лягу. И буду лежать одинъ, спать до завтрашняго утра. Нельзя, не хочу".

На Фонтанкѣ, дѣйствительно, заперся, лежалъ, потомъ крѣпко, безъ сновъ, спалъ.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Дѣтская затѣя.

Утромъ отъ кошмара, отъ нездоровья осталась однако, непріятная память. И Юрій рѣшилъ пожить на Фонтанкѣ дня три, никуда не выходя. Потомъ онъ опять отправится на Васильевскій. Уѣхать скоро не разсчитывалъ, были еще дѣла съ университетомъ, и онъ думалъ объ экзаменахъ почти весело. Даже хотѣлось не трудной, обязательной работы.

Какъ-то, часовъ въ десять, Юрій шелъ изъ столовой къ себѣ. Проходя по коридору, онъ услышалъ въ классной знакомый голосъ.

Удивился. Неужели эти уроки Михаила съ Литтой все еще продолжаются? Онъ и забылъ о нихъ. Да и о Михаилѣ совсѣмъ не вспоминалъ послѣднее время.

Юрію было легко и весело. Свѣжевымытый китель пріятно холодилъ его. Въ квартирѣ графини, впрочемъ, жара не чувствовалась, даже вѣяло погребомъ, и это было отрадно.

Классная, куда заглянулъ на голоса Юрій,—душнѣе; тамъ солнце; но бѣлыя занавѣси спущены и чуть вздрагиваютъ отъ движенія воздуха.

— Здравствуй, — сказалъ Юрій привѣтливо. — Давно не встрѣчались. А вы тутъ какъ будто спорите?

— Нѣтъ, такъ,—сказалъ Михаилъ, здороваясь.

Литта молча поглядѣла на брата и опустила глаза. Юрій давно примѣтилъ, что она молчитъ, къ нему въ комнату не ходитъ. „Дуется сестренка“ — усмѣхнулся онъ какъ-то про себя и больше ужъ этимъ не занимался.

Литта казалась измѣнившейся, выросшей. И выраженіе лица у нея другое — можетъ быть, оттого, что волосы она стала подбирать, какъ взрослая. Если спрашивали, сколько ей лѣтъ—она очень серьезно отвѣчала: „скоро осьмнадцатый“.

— Ты не досадовалъ тогда на мое возраженіе?—сказалъ Михаилъ, чтобы сказать что-нибудь.

— Что ты! Очень радовался. Вѣдь это же игра. А теперь я, признаться, ужъ и забылъ о знаменитомъ сборищѣ.

— Напрасно! — взволновалась вдругъ Литта.—У тебя все игра!

Юрій засмѣялся.

— Сердитая стала у меня сестренка! Тебѣ завидно, что ли? Вотъ въ Царское поѣдешь — въ лаунъ-теннисъ будешь играть.

Литта вспыхнула.

— Ненавижу я это Царское! Комедія тамъ жить! Я лучше въ деревню, къ тетѣ Катѣ, поѣхала бы, если ужъ нельзя въ Красный Домикъ.

— Да, я самъ Красный Домикъ люблю,—сказалъ Юрій серьезно.— Онъ старый, но я попробую нынче лѣтомъ пожить тамъ одинъ недѣли двѣ. Внизу велю окна отколотить. Глухо тамъ, хорошо.

— Это въ Финляндіи?—спросилъ Михаилъ. И прибавилъ съ усмѣшкой, остановивъ на Юріи тяжелый взоръ синихъ глазъ:

— Да развѣ ты можешь прожить двѣ недѣли одинъ, въ глуши?

— Еще бы! Это вѣдь тоже радость; въ одиночествѣ, порою, такъ же весело бываетъ, какъ и съ людьми. Ни отъ чего я не отказываюсь, что радость даетъ.

— Нѣтъ, я думалъ...—началъ Михаилъ и замолкъ.

Юрій поднялся.

— Ну, прощайте, дѣти мои. Ужасно вы скучные. Право, Михаилъ, всякій разъ я тебя сызнова жалѣю, когда вижу. Ты мнѣ нравишься; развеселить бы тебя—да я не умѣю.

Одни — Литта и Михаилъ нѣсколько времени молчали. Каждый, вѣрно, думалъ свое.

— А мнѣ его, его жалко!—сказала Литта.—Да, впрочемъ, всѣхъ жалко. Ахъ, какъ жалко!—Она всплеснула руками и вдругъ заплакала.

Михаилъ поглядѣлъ на нее сбоку и тихо произнесъ:

— Ну, что это. Не люблю, когда плачутъ. Самому сейчасъ же хочется.

И онъ улыбнулся изъ-подъ нахмуренныхъ бровей.

Литта уже не плакала.

— Михаилъ Филиппычъ, я только одно хотѣла... Да я не умѣю, какъ сказать. Вы, можетъ, думаете, что Юруля нехорошій человѣкъ, но это неправда! Онъ даже добрый... Зла никому нарочно не сдѣлаетъ... Только онъ странный, говоритъ при всѣхъ, чего нельзя говорить... Ну, я не знаю, я съ нимъ не согласна, и сержусь, а все-таки вѣдь онъ мой братъ.

— Да, это не то...—задумчиво сказалъ Михаилъ и всталъ.—Онъ вовсе не дурной человѣкъ, Онъ, вѣдь, ничего не скрываетъ. Отчего вы подумали, что я его считаю дурнымъ?

— Такъ...—Литта опустила глаза.—А мнѣ бы не хотѣлось. Потому что онъ, право... только странный. Развѣ онъ виноватъ?

Прибавила поспѣшно:

— Вы уходите?

— Да. Я еще приду во вторникъ. Вѣроятно. А ужъ больше не приду.

— Помню. Вы говорили,—бодро сказала Литта.—Наташу мнѣ хотѣлось еще увидѣть. Но если она уѣхала,—такъ пускай, не хочу и видѣть ее.

— Какая вы строгая!

— Вы хотите сказать, что я ничего не понимаю? Что я дѣвочка? Что жъ, это правда. Я мало знаю, мало понимаю,

а если молода, такъ, вѣдь, въ сущности, это хорошо. Много времени впереди.

— Тратить, значитъ, не жалѣя?—пошутилъ Михаилъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, именно жалѣя тратить. Чтобы на многое хватило. Я расчетливая. И упрямая,—прибавила она совсѣмъ серьезно, по взрослому.—Я, вѣдь, и васъ сужу, насколько поняла. Хоть бы пришлось васъ больше никогда не увидать, я все равно сама пойду, по-своему, къ своему.

Михаилъ ничего не отвѣтилъ, крѣпко пожалъ ей руку. У дверей обернулся и спросилъ:

— А скажите, Юлитта Николаевна... Вы знаете Саватова? Профессора Саватова?

— Дидусю?—весело вскрикнула Литта.—А то какъ же! Онъ у бабушки всегда бывалъ. Теперь давно что-то не былъ. Его Дидимъ зовутъ, Дидимъ Иванычъ, онъ старенькій, я его и прозвала Дидусей. Ахъ... А вы почему спросили?—спохватилась она.

— Я познакомился съ нимъ... съ ними. Случайно, они меня совсѣмъ не знаютъ.

— Они? Да, и Ореста я знаю. Сергѣя Сергѣевича нѣтъ. Понравились вамъ?

— Очень.

— Вотъ, вотъ. Дидуся со мной по-настоящему только одинъ разъ говорилъ. И такъ просто, совсѣмъ какъ съ большой. Уважаю я ихъ всѣхъ.

— Не совсѣмъ понятно...—сказалъ раздумчиво Михаилъ.—Они религіозные люди, что ли? Бога общаго ищутъ?

— Бога?—удивилась Литта.—Чего же Его искать? Вѣдь Богъ же тутъ же... для нихъ. Конечно, общій.

Они глядѣли другъ на друга молча и оба почувствовали, что слова у нихъ еще разныя и договориться въ чемъ-то они все равно сейчасъ не могутъ.Риттѣ показалось, что это она ничего не знаетъ, она—маленькая и глупая. А Ми-

хаилъ думалъ, какъ грубы, плоски, безсильны его слова, чуть онъ касается одной великой, неизвѣстной и непривычной ему части души человѣческой. Отчего?

Онъ заторопился.

— Такъ до вторника.

— Да. Хорошо, что вы съ Дидусей... Онъ пріѣдетъ. Они съ бабушкой очень спорятъ, но бабушка его такъ уважаетъ. Даже странно! До свиданья, до вторника.

Подумавши, она вдругъ сказала какъ бы про себя:

— Этотъ Орестъ такой бѣдный... У него брата убили.

— Кто убилъ? Когда?

— Давно ужъ. Я не знаю подробно, мнѣ тогда не разсказывали, но что-то было очень страшное. Я потомъ вспоминала, думала... На заводѣ его убили. Съ того времени и Сергѣй Сергѣевичъ съ ними живетъ. Въ Ново-Колымскѣ былъ заводъ, громадный. Оресту и брату его, инженеру, вмѣстѣ дядя завѣщалъ. Какъ дядя умеръ, тутъ вскорѣ все и случилось.

— Въ Ново-Колымскѣ? Послушайте, разскажите мнѣ...

Въ памяти Михаила вдругъ вспыхнуло что-то знакомое, какое-то странное, интересное дѣло, о которомъ онъ слышалъ, но не вдумался, а потомъ забылъ: не касалось оно близко того круга людей и мыслей, гдѣ онъ жилъ.

— Что же я разскажу?—безпомощно начала Литта.—Я мало знаю. Ихъ было два брата: Орестъ и Викторъ. Орестъ жилъ съ Дидусей, а Викторъ у другого дяди, заводчика, очень богатаго. Кончилъ инженеромъ, и былъ у дяди, на заводѣ этомъ, главноуправляющимъ. Потомъ дядя умеръ и оставилъ заводъ, и деньги всѣ—обоимъ братьямъ. Викторъ вдругъ пріѣхалъ сюда, съ Орестомъ они сговорились и вмѣстѣ на заводъ отправились. Потомъ и Дидуся былъ съ ними. Стали предлагать новые порядки. И вышло, что рабочіе Виктора убили. Послѣ заводъ закрылся.

— Постойте, Юлитта Николаевна! Какіе же новые порядки?

— Не знаю. Хорошіе. Все по-новому, по-своему. Говорятъ, что этого все равно нельзя было завести, что не позволили бы. И вообще нельзя... если на другихъ заводахъ не такъ. Ну, а тутъ этотъ случай ужасный.

— Они все хотѣли самимъ рабочимъ отдать?—сказалъ Михаилъ, вспоминая.

— Да, да, кажется такъ! Конечно. Чтобы рабочіе между собой сговорились, выбрали тѣхъ, кому довѣряютъ, плату бы сами себѣ назначили, и Виктору, какое хотятъ, жалованье. Даже если Виктора не хотятъ, то пусть другого нанимаютъ. У Ореста должности не было на заводѣ—такъ братья согласились, чтобы Оресту ничего не получать.

— Вы говорите—давно... Это всего два года тому назадъ было?

— Два года, правда. Михаилъ Филиппычъ, такъ вѣдь развѣ это плохо для рабочихъ? Вѣдь они всегда этого и хотятъ. Ихъ только просили сговориться, твердо между собою, и чтобы заводъ шелъ. Шелъ же онъ при дядѣ, и какія еще деньги ему давалъ. Рабочіе жаловались,—ну, какъ вездѣ,—однако шелъ.

— А тутъ сталъ?

— Не могли они сговориться. Отдѣлились какіе-то. И Виктора на заводскомъ дворѣ ломомъ желѣзнымъ убили. Еще кричали: „разоритель!“ Прямо ужасно.

— А Орестъ что же? Бросилъ все и убѣжалъ?

Литта взглянула строго.

— Зачѣмъ вы такъ нехорошо? Не убѣжалъ. Онъ бы и одинъ тогда не бросилъ, да все дѣло пропало. Закрыли заводъ, а Ореста даже судить хотѣли. Вотъ, больше я ничего не знаю.

— Это не мало...—въ раздумьѣ сказалъ Михаилъ. Онъ такъ и стоялъ у двери, собираясь уйти. Не уходилъ.

— Вы сами объ этомъ съ ними поговорите,—добавила Литта.—Они разскажутъ. Сергѣй Сергѣевичъ съ завода, при немъ и Виктора убили. Дидуся мнѣ говорилъ, что этого забыть нельзя, что Орестъ очень мучается. Они хотѣли хорошаго, а вотъ что вышло, сколько людей пропадало. Да... Я пока разсказывала вамъ—сама все лучше вспомнила и поняла. Дидуся вѣрно говоритъ: это хорошо, такъ надо, только еще нельзя, послѣ. Они, конечно, виноваты. Сами теперь видятъ, что сначала надо, чтобы много еще чего случилось... а тогда ужъ и это.

Михаилъ шелъ по жаркой темной Фонтанкѣ и думалъ. Сквозь полудѣтскія слова Литты и сквозь свои собственныя воспоминанія онъ глядѣлъ на то, что было въ дѣйствительности, многое угадывалъ: и, благодаря этому наивному и страшному дѣлу—новые друзья становились ему все понятнѣе. Понятнѣе и ближе. Раньше онъ только вѣрилъ, что это друзья, а теперь зналъ, что и не могутъ они не быть друзьями. Мысли ихъ—какъ бы онѣ широко ни шли—близкія мысли. Вотъ одну Михаилъ уже видитъ ясно. Не разсужденіями, а тяжкимъ опытомъ, сознаніемъ вины и болью пришли они къ тому, что надо узнавать свои времена, что многое еще должно совершиться сначала, и только потомъ—только потомъ!—изъ хорошихъ, тихихъ дѣлъ хорошихъ людей будетъ выходить хорошее.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Молчанія.

Ѣдетъ Юрій на узкихъ дрожкахъ, на славномъ графининомъ рысакѣ „Хваленомъ“, вдвоемъ съ сестрой.

Они были у Левковичей, прощались: завтра Саша уѣзжаетъ съ Мурочкой за границу. Графиня рѣшила, что Литтѣ слѣдуетъ навѣстить больного родственника. Графиня все больше и больше довѣряетъ Юрію, Литту отпускаетъ съ нимъ охотно.

У Саши недолго посидѣли. Юрій предложилъ еще прокатиться—и вотъ они ѣдутъ на острова.

Литта задумчива. И у Левковичей она все молчала, да съ удивленіемъ присматривалась къ тихой и нѣжничающей Мурочкѣ. Мѣрно и рѣдко цокаютъ копыта по мостовой Каменноостровскаго. Юрій разговариваетъ съ кучеромъ Липатомъ. Разспрашиваетъ о Хваленомъ—ему нравится лошадь. Когда графиня хотѣла продать ее, Юрій отсовѣтовалъ.

Любовь къ хорошимъ лошадямъ, къ дорогимъ и красивымъ предметамъ у Юрія очень сильная и какая-то безкорыстная. Онъ нисколько не страдаетъ отъ сознанія, что онъ бѣденъ, и не занятъ мыслью о богатствѣ. Ему все равно, принадлежитъ ли Хваленый ему или графинѣ. Можетъ быть, оттого все равно, что знаетъ: если бы захотѣлось денегъ, захотѣлось того или другого—деньги всегда легко даются тѣмъ, кто отъ нихъ не зависитъ. Деньги всегда будутъ. Юрій не тщеславенъ и не жаденъ.

Весело. Отъ Малой Невки несетъ мокрой прохладой. Еще пахнетъ пылью, — но уже и лягушками: сырые острова близко. Сестренка такая хорошенькая подъ сѣрой прозрачной шляпой. Что-то свое думаетъ, стала спорить съ нимъ послѣднее время... Пусть ее! Все-таки милая, славная сестренка. Пусть будетъ сама по себѣ...

— Юрій...—проговорила она вдругъ.—Что это было? Отчего Саша... стрѣлялся?

Проговорила тихо, чтобы и Липатъ не слышалъ.

Юрію вдругъ захотѣлось разсказать сестренкѣ все про Левковича и Муру, все какъ было. Отчего жъ не разска-

вать? Чувствовалъ онъ ее сейчасъ такимъ славнымъ товарищемъ.

И разсказалъ, тихонько, почти на ухо, коротко, весело и точно.

Литта помертвѣла. Широко открыла глаза.

— Въ тебя? Въ тебя? Боже мой! А если бы онъ... Отъ какой случайности зависѣло! Боже мой! Нѣтъ, я этого не понимаю...

Юрій подумалъ, что она чего-то не поняла въ его разсказѣ, сталъ объяснять сызнова, какъ онъ вошелъ...

— Нѣтъ, нѣтъ... Я не то не понимаю... Но какъ это возможно? Изъ-за Мурочкинаго вранья...

— Ну, развѣ во враньѣ дѣло... Вижу, ты еще глупенькая у меня сестренка... Чего испугалась? Все отлично обошлось. Дурочку я приструнилъ. Шелковая сдѣлалась. И Саша счастливъ.

— Да... да. Юра, вѣдь на лжи все устраивается, на лжи и на случайности! Вотъ чего я не могу понять. Мнѣ противно, если такъ. И страшно.

— Ну, милая,—протянулъ Юрій.—Мало что. Такова жизнь, хочешь—бери, хочешь—не бери, твое дѣло. По-моему, куда умнѣе и человѣчнѣе было тогда отправиться къ Мурочкѣ и поучить ее, нежели тутъ же распустить слюни, предаться размышленіямъ о лжи и правдѣ міра, да какъ я къ этому міру отношусь. Охъ, ужъ эти твои міровые вопросы!

Литта замолкла. Что бы она возразила? Дѣйствительно, будь она на мѣстѣ Юрія, она бы ничего не устроила, и къ Мурочкѣ не поѣхала, и Богъ вѣсть, что бы еще изъ этого всего вышло.

Темная, сочная зелень, мягкая дорога, на островахъ не людно въ этотъ предобѣденный часъ.

— Хочешь, пройдемся пѣшкомъ до Стрѣлки?

Они вышли. Пошли по боковой дорожкѣ, подъ деревьями. Литта взяла брата подъ руку. Очень они были милы вмѣстѣ. Оба тонкіе, крѣпкіе, высокіе, точно двѣ елки молодыя—Литта сильно выросла послѣднее время,—оба красивые и значительные. Черты у нихъ схожія, но лица все-таки разныя. Золотисто-каріе глаза Юрія веселѣе и потому привлекательнѣе. Литта иначе складывала губы, глядѣла строже, была блѣднѣе и даже казалась старше брата.

— Улитка, гляди, какъ славно! Брось ты думать о пустякахъ! Если начать бояться—и не кончишь. Мало ли что можетъ случиться? Вдругъ налетитъ гроза, вдругъ сломитъ дерево, вдругъ оно упадетъ на насъ и убьетъ! Однако пока грозы нѣтъ и мы живы и здоровы—отчего не поглядѣть вонъ на тѣ барки, направо? Видишь, какой тесъ на солнцѣ? Точно золотой!

Литта поглядѣла и улыбнулась. Правда, совсѣмъ золотой. А все-таки...

Подходили къ взморью. Тутъ стояло нѣсколько экипажей. Лошади перебирали ногами, вздрагивали, туповато и громко шебарша сбруей. Кое-кто ходилъ по Стрѣлкѣ, нарядныя дѣти бѣгали съ собакой.

— Посмотри, кто это сидитъ, вонъ, на лавочкѣ?—торопливо шепнула Литта.—Вонъ, съ газетой, въ пальто?

Юрій сощурилъ пушистыя рѣсницы.

— Не знаю... Постой, кажется, это тотъ... Дидимовъ племянникъ. Куда ты? На что тебѣ хромулю?

Въ самомъ дѣлѣ—на что? Но Литта уже устремилась къ скамейкѣ, ничего не слушая.

— Орестъ Өедоровичъ, здравствуйте! Вотъ неожиданно встрѣтились!

Хроменькій поднялся, привѣтливо смотрѣлъ на дѣвушку, не узнавая.

— Я Литта, Юлитта Двоекурова, внучка графини... Помните?

Орестъ улыбнулся.

— Не узналъ. Я больше году васъ не видѣлъ. Какая вы стали... выросли какъ.

— Ну, еще бы! А что Дидуся? Отчего онъ такъ давно къ намъ не пріѣзжаетъ?

Подошелъ Юрій и тоже поздоровался.

Послѣ нѣсколькихъ словъ привѣтствія Литта умолкла: не о чемъ было говорить. Они съ Орестомъ весело и радостно глядѣли другъ на друга, и Литтѣ было странно: такъ она бѣжала къ нему, такъ много чего-то у нея въ душѣ, какихъ-то вопросовъ, разсказовъ,—и ни одного слова для нихъ нѣтъ. прочемъ, это ничего. Орестъ смотритъ, точно понимаетъ все, о чемъ она молчитъ, точно знаетъ, что не для пустыхъ привѣтствій, а для этого молчанія она и подошла къ нему.

Юрій что-то сказалъ, они не слыхали, и черезъ минуту разошлись, оба улыбаясь, безъ словъ.

Литта разсѣянно глядѣла впередъ и долго еще улыбалась.

Юрій замѣтилъ ея улыбку.

— Вотъ не зналъ, что ты этого хроменькаго помнишь. И чѣмъ онъ тебѣ нравится?

— Нравится? Да. Мнѣ и Дидуся очень нравится,—сказала Литта и сдѣлалась серьезной.

Юрій пожалъ плечами.

— Да они ничего. Старые ребятишки. Дидусь твой лучше бы пристальнѣе своей наукой занимался, пока силы есть; какъ бы не отстать. Нѣтъ, все мудруетъ. Слышалъ я что-то о нихъ недавно... Да ужъ не помню. Дѣти.

— Это Дидуся-то дитя?

— Конечно. Стоитъ на него взглянуть.

— Ну что жъ, это развѣ плохо?

— Еще бы не плохо. Не мудри и ты, милая. Не забывай банальныхъ истинъ, онѣ самыя истинныя. „Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ, блаженъ, кто во время созрѣлъ“...

— Ты все смѣешься, Юрій.

— Дѣточка! Честное слово, я серьезно.

— Ты надо всѣмъ смѣешься, Юрій.

Онъ остановился и удивленно посмотрѣлъ на нее.

— Тебѣ все игра, игра, — продолжала она, и въ голосѣ уже явственно были слезы.

— Вотъ что, сестренка. Поѣдемъ-ка домой. Ты, должно быть, устала. Я три дня готовъ не смѣяться, только чтобы ты сейчасъ не заплакала.

Заторопились къ Липату, онъ ихъ ждалъ у моста. Литта шла молча. Потомъ вздохнула и, сдерживаясь, проговорила чуть слышно, точно отвѣчая на свои мысли:

— Вотъ и Наташа... Я думала, она какая... А она вонъ какая! Уѣхала ужъ теперь, должно быть...

Юрій обрадовался предлогу перемѣнить разговоръ, который ему надоѣлъ и разстраивалъ сестренку. Сталъ говорить о Наташѣ, разсказывалъ о ней, что приходило въ голову. Вспоминалъ, что прежде она не такая была, а гораздо красивѣе. Измученное, злое лицо... Это къ ней нейдетъ.

Литта слушала внимательно. Они нашли экипажъ и сѣли, а Юрій все еще говорилъ о Наташѣ. Ему понравилось говорить и думать о ней. Вдругъ понравилось, что она уѣхала (вѣроятно, разошлась съ Михаиломъ), и то понравилось, что она какъ будто умнѣе многихъ, какъ будто поняла тѣ простыя вещи, которыя часто говоритъ Юрій и которыхъ вотъ сестренка не понимаетъ же.

— Она славная, Наташа, — увѣряетъ Юрій. — Я ее, кажется, теперь лучше вижу, чѣмъ прежде. Она только больна. И хотѣла бы жить, какъ слѣдуетъ, всему радоваться, да не

можетъ, ей все не вкусно. Больному все не вкусно. Гдѣ она теперь? За границей?

— Не знаю. Должно быть.

Ѣхали очень быстро, горячій воздухъ клочьями летѣлъ въ лицо, упруго подскакивали резинки, Литта придерживала край своей широкой шляпы.

— Къ зимѣ поѣду за границу, найду ее тамъ, — продолжалъ Юрій.—Хочется помочь ей, развеселить ей душу... И могу, пожалуй; она—умница.

„И красивая, очень красивая, когда веселая"... думалъ онъ дальше. О Литтѣ даже забылъ, такъ заняла его мысль о Наташѣ. Нравилась Наташа.

Литта, вѣрно, тоже забыла о спутникѣ. Не замѣтила она и дороги. Вотъ ѣдутъ мимо крѣпости, скоро-скоро, только мелькнули сѣрыя грязныя стѣны. Вотъ крѣпость уже позади, блѣдно золотится злая ея игла. Вотъ они уже около дома.

— Нѣтъ,—сказала вдругъ громко Литта.—А я въ Бога вѣрю. Въ Бога.

На какія свои мысли отвѣтила?

Юрій слышалъ. А можетъ быть не слышалъ. Протянулъ разсѣянно:

— Какъ хочешь, милая. Какъ хочешь. Ну, мы пріѣхали.

Пріѣхали. Юрій потрепалъ по спинѣ фыркающаго Хваленаго, поговорилъ съ Липатомъ и побѣжалъ наверхъ.

На минутку. Только зайдетъ къ отцу и къ графинѣ. А потомъ домой, на Островъ, заниматься. Онъ съ охотой и много занимается, ему весело уставать.

Вспомнилъ, что Лизочка прислала утромъ какую-то глупую записку, просила нынче непремѣнно быть, нужно; жаловалась: „твоя портниха надоѣла"... Этому Юрій непріятно удивился: такъ, значитъ, Хеся до сихъ поръ тамъ путается? Пора бы, однако, и честь знать. Да, навѣрно еще не убралась

потому что Лизочка дальше приписывала: „и Кноррище этотъ не ко времени шатается. Давеча пришелъ не то выпивши, не то уже не знаю, что; все со мной сидѣлъ и о судьбѣ своей плакался. Между прочимъ, говоритъ: Юрію не довѣряйтесь, онъ въ васъ не влюбленъ, а я теперь знаю, въ кого онъ влюбленъ: въ высокую брюнетку съ голубыми глазами. И это, говоритъ, взаимно. У него, говоритъ, всегда взаимно, а я вотъ одинъ такой несчастный. И пошелъ, и пошелъ. Я, конечно, на его глупости вниманія не обращаю, но желала бы знать, какая это брюнетка у васъ завелась, въ кого вы влюблены“...

Утромъ, читая наскоро эту записку, Юрій ничего не понялъ, да и вниманія не обратилъ. Но, вспомнивъ ее теперь, вдругъ что-то сообразилъ и засмѣялся про себя.

Ну, конечно! Кнорръ, прилипнувъ къ Хесѣ, путается теперь постоянно и съ распрекраснымъ Яковомъ. А у Якова всегда была упорная склонность воображать, что Юрій и Наташа неравнодушны другъ къ другу. Вотъ и высокая брюнетка!

Какъ Юрію раньше не пришло въ голову: очевидно, Яковъ самъ влюбленъ въ Наташу! Влюбленъ, влюбленъ! Только пикнуть объ этомъ не смѣетъ. Да и не посмѣетъ.

„Тоже любовь! -- презрительно усмѣхнулся Юрій про себя. — Гадость, злость одна паучья, если и есть, а не любовь“.

Ну, къ Лизочкѣ Юрій сегодня не поѣдетъ. Чортъ съ ней, не развалится, подождетъ. Сегодня домой, домой, заниматься. А для развлеченія есть у него новая, веселая мечта—о Наташѣ. Вѣдь уѣхала, умница, отъ всѣхъ этихъ паучьихъ Якововъ и тряпочныхъ Кнорровъ. Умница. И красивая.

Понравилась Наташа.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Неполученное письмо.

Конвертъ дорогой, длинный, гладкій. Вѣрно барынинъ, со стола. Въ конвертѣ сѣроватый листокъ съ красной линейкой, выдранный изъ кухонной расходной книги. Сплошь, вкривь и вкось листокъ исписанъ мазаными закарюльками, однако со стараньемъ.

„Многоуважаемый Илья Корнѣичъ! Въ первыхъ строкахъ пишу вамъ это письмо, какъ вы сказали, что у васъ хозяинъ строгій и что если писать письмо, то на почтамтъ до востребованія и проставить однѣ буквы И. и К. А затѣмъ, что вы не ходите, то я не изъ-за того, потому что я ни въ комъ не нуждаюсь. Если вы изъ такихъ, что погулялъ и прощайте на всѣ четыре стороны, то мнѣ очень даже безразлично, а вы себѣ не воображайте. Вчерась и сегодня я слезъ не осушаю, потому что если меня замѣтятъ, такъ я главнѣе Степаниды боюсь, она охальная, и начнетъ срамить, и тогда съ мѣста очень просто долой. А впрочемъ, какъ былъ у васъ разговоръ при Иванъ Мокѣичѣ, при старшемъ дворникѣ, подъ Николинъ день, и разговаривали вы, что „я еще въ подлецахъ не бывалъ“, то на ребенка, значитъ, будете выдавать, чтобы мнѣ не срамиться. Степанида эта мнѣ житья не дастъ, какъ меня замѣтитъ, съѣстъ. Однако я ея не боюсь, я и сама ей отвѣчу, я не изъ таковскихъ, мнѣ наплевать, и за кавалерами не бѣгаю, очень нужно. А затѣмъ въ послѣднихъ строкахъ цѣлую тебя несчетно разъ, миленькій дружочекъ Илюша, остаюсь въ ожиданіи скораго отвѣта извѣстная вамъ Марья Сухарева“.

Вотъ какое было письмо. Пришло оно въ почтамтъ тринадцатаго іюня, до востребованія, но никто его не требовалъ. Юрій и забылъ, что сказалъ Машкѣ о строгомъ хозяинѣ, о

томъ, что письма ему пишутъ только до востребованія. Онъ, должно быть, и не зналъ, грамотна ли Машка.

Не заходилъ къ пей давно, это правда; послѣднее время не до того было, совсѣмъ вылетѣла Машка изъ головы.

Онъ вспомнитъ, онъ пойдетъ. Но все нѣтъ и нѣтъ его, а гордая Машка второго письма писать не будетъ. Не знаетъ она, что и первое валяется въ своемъ атласистомъ конвертѣ праздно, ждетъ востребованія—и нѣтъ востребованія.

Много чего не знаетъ Машка. А все же чуетъ, что если бъ даже совсѣмъ сгинулъ ея Илюшенька, все-таки онъ „въ подлецахъ не былъ", просто себѣ судьба вышла тутъ этакая горькая.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Каюкъ.

Девять часовъ.

Литта заспалась послѣ вчерашняго катанья. Устала, да и ночью все думала, думала... Странныя у нея какія-то мысли.

Въ маленькой бѣлой спальнѣ темновато, хотя шторы бѣлыя. Должно быть, не солнечный день сегодня.

— Барышня, барышня!

Литта открыла глаза. У постели—тихонько, словно ящерица, вползшая въ комнату, Гликерія. Стоитъ, шепчетъ, бѣлая наколка на боку.

— Что, поздно? Отчего ты меня не разбудила? Да что съ тобой?

— Барышня, милая! Бѣда у насъ! Давно хотѣла будить, не смѣла.

Литта вскочила съ постели, въ длинной ночной рубашкѣ, босыми ногами прямо на полъ.

— Охъ, да что? Да что такое?

— Бѣда. Заарестовали его. Увезли. Барина.

— Папу?

— Что вы, барышня, Господь съ вами... Молодого барина. Солнышко наше красное, Юрія Николаевича.

Гликерія тряслась, шептала и плакала.

„Вотъ оно!“ подумала Литта, а сама не знала, что „оно“ и почему „вотъ“.

— Гликерія, толкомъ скажи. Да развѣ онъ здѣсь ночевалъ?

— Не здѣсь, не здѣсь! Съ Васильевскаго, съ той квартиры увезли. Ночью. Тамъ покончили, да сюда, въ его же кабинетъ. Въ бумагахъ, въ книгахъ роются.

— Какъ роются? Здѣсь?

— Съ восьмого часу здѣсь. Въ передней солдатъ. Сряду къ ихъ превосходительству, съ бумагой, что значитъ приказано обыскать у Юрія Николаевича въ кабинетѣ.

— Что жъ папа?

— Да что жъ, они только ручкой махнули. Вѣдь ничего не подѣлаешь. Ихнюю половину не тронули, на одинъ единственный кабинетъ Юрія Николаевича приказъ, гдѣ они жительство имѣли. Человѣкъ ихъ шесть народу. Господи, батюшка! Бѣда-то, бѣда!

— А почемъ ты знаешь, что арестовали?

— Ужъ знаю. Слышала. Барышня голубушка, что жъ это будетъ?

Литта, дрожа, хваталась то за чулки, то за рубашку, и все у нея падало изъ рукъ.

— А бабушка что?

— Не звонили еще ихъ сіятельство. Не смѣемъ никто доложить. Въ домѣ этакая вещь! Двое ихъ, никакъ, въ прихожей, у двери, сидятъ. Опрашиваютъ. Въ девятомъ часу пришелъ тутъ съ парадного изъ мебельнаго магазина главный, счета ихъ сіятельству доставилъ. Такъ сейчасъ по те-

лефону удостовѣряются, точно ли онъ изъ магазина и къ кому, не къ Юрію ли Николаевичу.

— Гликерія,—сказала Литта спокойно, но поблѣднѣла такъ, что даже голыя ножки у нея побѣлѣли.—Сегодня какой день? Вторникъ?

— Вторникъ. Барышня милая, да извольте вы одѣваться. Ужъ десятый часъ.

— Десятый часъ?

Темный холодъ такъ и обливалъ Литту. Еще не разобралась, еще не поняла, какъ должно, этой новой своей мысли, а мысль ужъ ее придавала и заледянила.

Сидятъ у двери Юрьевой комнаты. Въ передней. Удостовѣряются по телефону. Десятый часъ. Вторникъ. Послѣдній вторникъ.

Черезъ полчаса придетъ Михаилъ. Придетъ ли? Все равно, можетъ прійти. Придетъ, придетъ. А прійти ему нельзя.

Вотъ это одно: придетъ, а нельзя приходить,—это одно высѣклось у Литты въ душѣ глубокими буквами, и ничего другого не было.

Гликерія молча смотрѣла на барышню: пяти минутъ не прошло, Литта была одѣта. Скоро, но безъ всякой суетливости, она вынула изъ шкапа старенькое короткое платьице, расплела и попрежнему, по-дѣтски, распустила блѣдные пышные волосы. Еще словами не сказала себѣ, что̀ будетъ дѣлать, и уже дѣлала.

— Гликерія, слушай. Ты пойдешь со мной. Дай мнѣ круглую черную шляпку, что съ резинкой.

Гликерія такъ и присѣла.

— Барышня, да что вы? Да куда это вы пойдете? Никуда нельзя итти. Какъ я смѣю, барышня, милая?

— Ты пойдешь со мной,—повторила Литта.—Ты провожаешь меня на урокъ музыки. Учительница заболѣла, не выходитъ, я иду къ ней сама. Поняла?

— Господи помилуй, да какая учительница? Сроду я васъ къ ней не провожала. Не осмѣлюсь я, барышня...

Литта стиснула зубы и схватила Гликерію за руку.

— Не пойдешь? Не скажешь? Нѣтъ учительницы? Ну такъ помни: Юрію худо будетъ. Худо, если не пойдешь. Я знаю, что дѣлаю.

Ошеломленная Гликерія совсѣмъ подсѣклась. Только ротъ раскрывала и закрывала. Но Литта уже не заботилась о ней: пойдетъ.

Скользнувъ въ сумрачную пустую залу, Литта схватила старую папку съ какими-то старыми нотами и съ золотыми буквами „music“, поправила дѣтскую шляпу на кудрявыхъ волосахъ и пошла въ коридоръ.

Тамъ металась Гликерія, уже въ легкомъ платкѣ на плечахъ.

— Барышня, дождика не было бы... Въ одномъ платьицѣ.

Литта молчала, шла къ передней.

— Барышня, можетъ по черному ходу...

Отчего, въ самомъ дѣлѣ, не по черному ходу? Нѣтъ, Литта не хочетъ. Тамъ еще остановитъ домашняя стража, тамъ удивятся, узнаетъ графиня... И даже не это, а просто кажется, что лучше не по черному ходу.

Была нерѣшительная остановка въ большой полутемной передней. Нерѣшительно спрашивали, сомнѣваясь, нужно ли спрашивать, шептала что-то Гликерія, Литта сама кому-то протянула, было, папку съ нотами, ее вѣжливо не взяли.

И вотъ барышня съ горничной уже на лѣстницѣ.

„Господи, Господи! Куда же итти? Направо или налѣво? Господи, дай угадать, куда итти, чтобы встрѣтить!“

Ей подумалось, что если они разойдутся, если онъ придетъ съ другой стороны, и поднимется, и станетъ спрашивать барышню, и начнутъ ее искать, а о немъ справляться по телефону, то выйдетъ еще хуже; навѣрно выйдетъ со-

всѣмъ, совсѣмъ худо. А если бъ не бѣжать навстрѣчу, вѣдь, можетъ, и обошлось бы. Или нѣтъ?

„Господи, Господи! Направо или налѣво?“ Въ послѣдній разъ она случайно видѣла съ балкона, какъ онъ подходилъ: подходилъ справа. Не послать ли Гликерію въ одну сторону, а самой итти въ другую? Нѣтъ, нельзя, невозможно. Гликерія ничего не пойметъ, его пропуститъ, а Литту потеряетъ.

Ноги у Литты ослабѣли, стали какъ ватныя. Терпко въ душѣ отъ страха.

„Господи, Господи! Тогда онъ справа... пойду налѣво. Господи, помоги!“

Пошла налѣво, слабыми, ватными ногами.

Гликерія плелась за ней. День мутный, бѣлый. Вѣтеръ порывами взметывалъ булыжную пыль и кидалъ въ глаза. Грохотали пустые ломовики. Болтались мужичьи ноги, свѣшенныя съ телѣгъ. На тротуарахъ пустовато. Дальше, дальше... До которыхъ же поръ итти по Фонтанкѣ? А если онъ изъ переулка?

„Господи, нѣтъ, все погибло! Что я надѣлала!“

Остановиться, остаться тутъ совсѣмъ, у рѣшетки канала, съ папкой „music“, не знать, не знать, что будетъ...

Да вотъ онъ. Онъ, онъ! Изъ переулка идетъ, его шляпа черная, его сутулая походка... Онъ бритый послѣднее время, точно актеръ, это не очень хорошо, но вѣрно такъ надо. Онъ. Чуть не бросилась къ нему черезъ улицу бѣгомъ, ноги сразу другія, окрѣпли, но сдержалась, опомнилась, шагу только прибавила.

Онъ смотритъ—узнаётъ и не узнаётъ. Какъ узнать? Волосы, шляпа дѣтская, а подъ нею такое строгое, такое блѣдное лицо. И ей ли тутъ быть, на улицѣ?

Вотъ она уже около него. Гликерія отстала.

— Не ходите... Не ходите къ намъ. Я убѣжала навстрѣчу. Какъ хорошо, что встрѣтила, Господи, слава Богу...

Задохнулась, потомъ тише:

— Обыскъ у Юрія. Его увезли. Еще сидятъ, въ передней. Идите назадъ!

Онъ быстро поглядѣлъ на нее.

— Спасибо... милая. Прощайте.

— Мнѣ только чтобы знать о васъ. Послѣ, потомъ. Какъ-нибудь.

— Да, да, не бойтесь. Не забуду, найду способъ.

— Можетъ быть, Дидусь...

— Спасибо, да, знаю. Милая.

Онъ свернулъ на мостъ, дальше, прямо, и вотъ уже не видно его. Такъ скоро это все случилось, такъ скоро, что онъ пропалъ за угломъ, а Гликерія только подходила.

— Барышня, никакъ учитель вашъ...

— Молчи, Гликерія, слышишь—никому никогда ни слова! Скажешь слово—Юрію нашему гибель, гибель! Поклянись мнѣ на церковь.

И она тащила обезумѣвшую женщину вправо, въ тотъ переулокъ, изъ котораго вышелъ Михаилъ.

— Матушка, барышня... Да что вы это... Да развѣ я Юрія Николаевича не люблю... Да разрази меня Царица Небесная, помереть мнѣ наглой смертью...

И она подъ платкомъ крестилась мелко, глядя на золотой крестъ какой-то церкви, чуть видный далеко, надъ крышами.

Сразу нельзя было возвращаться: рано. Что ждетъ ихъ дома? У Литты страха нѣтъ. Она и не думаетъ. Главное удалось, а тамъ пусть хоть на куски ее рѣжетъ графиня. Да не разрѣжетъ. Главное—удалось, значитъ счастье, значитъ и все удастся.

Бродили онѣ по какимъ-то незнакомымъ Литтѣ улицамъ и переулкамъ; такъ было странно, дико, ново. Сколько времени прошло?

— Барышня, ужъ вертаться бы... Богъ дастъ,—взмолилась Гликерія.

Подошли къ дому съ другой стороны.

— Барышня, да намъ по второй черной лѣстницѣ, по бариновой!—догадалась глупая горничная.—Оттуда съ бариновой половины на нашу черезъ буфетную ходъ. А можетъ и унесло ужъ ихъ всѣхъ.

Литта перестала соображать. Пусть Гликерія, какъ хочетъ.

Чудомъ прошли. На половинѣ Николая Юрьевича—пустыня. Даже ни одного лакея. Черезъ темные ходы и переходы, шляпа снята, подъ платкомъ у Гликеріи,—и вотъ Литта въ родномъ коридорѣ, у дверей своей спаленки.

Было ли все, что было? Не снилось ли?

Литта сбросила старое короткое платьице, подобрала волосы. Руки дрожатъ, вѣрно отъ тяжелой папки. Сама все время несла.

Гликерія опять тутъ.

— Милая барышня, ушли, унесло ихъ, десять минутъ, не больше, узлы увезли громадные...

— Бабушка?

— Очень разстроены ихъ сіятельство. У нихъ сейчасъ баринъ Николай Юрьевичъ, да Модестъ Ивановичъ, да еще за кѣмъ-то послано. Изволили спрашивать васъ, имъ доложено, что вы почиваете, изъ спальни не выходили. Уберегла Царица Небесная. Меня-то хватились, да я что...

Литта уже не слушала, надо итти сейчасъ же.

Постучалась у двери графининаго будуара.

— Кто тамъ? Entrez!

Графиня, прямая и сухая, со сдвинутыми сѣрыми бровями, сидѣла на своемъ мѣстѣ, въ креслѣ съ высокой спинкой.

Противъ нея Литта увидѣла отца; это было необычайно, онъ никогда не ходилъ къ тещѣ. Съ палкой, въ мягкой

домашней курточкѣ; большія ноги въ туфляхъ. У окна ютился Модестъ Иванычъ. Онъ — отставной генералъ, безобидный; давнишній пріятель графини; испоконъ вѣковъ живетъ тутъ же, въ графининомъ флигелѣ; ея сіятельство часто посылаетъ за нимъ, когда соскучится, или за совѣтомъ. На совѣты Модестъ Иванычъ, впрочемъ, не мастеръ.

Графиня обмахивалась платкомъ и нюхала соль.

— Гдѣ вы были?—холодно обратилась она къ Литтѣ, когда та подошла поцѣловать ей руку.

Литту словно ударило. Какъ она надѣялась, что обойдется?

Но графиня продолжала:

— Это стыдъ, для такой большой дѣвушки, дрожать, запираться въ своей комнатѣ, когда въ домѣ несчастье, когда вашъ родной братъ претерпѣлъ такое несчастье, такой незаслуженный позоръ! Какъ вы малодушны! Взгляните на себя: лица нѣтъ!

Блѣдная какъ бумага,—дѣвочка вспыхнула отъ радости. Господи, спасибо тебѣ! Какъ хорошо!

Молча она поздоровалась съ отцомъ и сѣла въ сторонкѣ. Графиня уже не обращала на нее больше вниманія.

— Да, я требую этого, требую!—жестко и властно продолжала она разговоръ съ Николаемъ Юрьевичемъ.—Вы обязаны сдѣлать для вашего сына возможное и невозможное. Ваши болѣзни... Тутъ не до вашихъ болѣзней. Поѣзжайте куда хотите, и завтра поѣзжайте, и послѣзавтра... Нѣтъ связей? Были связи. Возстановите ихъ. Ah! mais c'est inouïe! Приходятъ, безъ разговоровъ, въ порядочную семью... И такой прекрасный, такой прекрасный юноша. Если въ нынѣшнія времена изъ такихъ юношей мятежниковъ дѣлаютъ, это значитъ, у насъ у власти стоятъ революціонеры. Да. Я уже достаточно стара, чтобы бояться говорить правду. Да, ре-

волюціонеры, которымъ не надобны настоящіе сыны отечества, они ихъ берутъ и бросаютъ... dans un cachot...

— Madame la comtesse...—въ ужасѣ заговорилъ робкій Модестъ Иванычъ.

— Не боюсь, милый мой, не боюсь... Одурѣли съ этими свободами, хватаютъ, какъ пьяные дворники... Вотъ она, ихняя хваленая демократія... Этого такъ нельзя оставить. Хотя бы пришлось до государя дойти.

Она обмахнулась платкомъ.

— У юноши нѣтъ матери. А если въ васъ, Николай Юрьевичъ, засохли первоначальныя отцовскія чувства... то я заставлю, заставлю ихъ... чтобъ они пробудились.

— Но, графиня, я готовъ,—началъ Николай Юрьевичъ.— Я самъ потрясенъ. Убитъ, разстроенъ, и притомъ я совершенно боленъ. Только вчера вотъ и нынче брожу. Не могу собраться съ мыслями.

— Собирайтесь и немедля поѣзжайте.

— Но куда? Къ кому? Надо обдумать. Наконецъ, можетъ быть, это все... une fausse alerte. Можетъ быть, его завтра же выпустятъ.

— Вы — бездушное сердце! — закричала графиня.—Онъ хочетъ ждать, пока этимъ сбившимся съ послѣдняго толку городовымъ вздумается выпустить несчастнаго страдальца! C'est le comble!.. Нѣтъ, я еще жива. Еще есть гдѣ-нибудь правда. И вы поѣдете.

Николай Юрьевичъ совсѣмъ струсилъ. Мягкія бритыя щеки его тряслись.

— Я поѣду, графиня. Я сдѣлаю все для моего несчастнаго сына. Но вотъ... у меня мысль: теперь новые порядки... гм... какъ бы новый строй... Прежде чѣмъ начать... nos démarches... не посовѣтоваться ли съ Валерьяномъ Яковлевичемъ? Съ Воронинымъ? Онъ депутатъ... И вмѣстѣ съ тѣмъ il est très bien vu. Родственникъ.

Графиня подумала.

— Можно послать за нимъ. Конечно, послать. Но это не мѣшаетъ вамъ дѣйствовать съ вашей стороны. Депутатъ, депутатъ... Какъ бы на него ни смотрѣли, разъ онъ депутатъ, онъ—ничто. Намъ нужны люди власти, а не депутаты...

Литта ушла къ себѣ и цѣлый день одна, безъ мыслей и безъ книги, сидѣла въ классной.

Гликерія приходила, докладывала ей шопотомъ, что у графини все разные люди, а баринъ Николай Юрьевичъ куда-то выѣзжали въ каретѣ, только скоро вернулись.

И пошли безтолковые дни. Къ упрямой графинѣ было не подступиться.

Она неутомимо возмущалась, неутомимо гоняла каждый день Николая Юрьевича, писала письма, совѣтовалась съ какими-то старыми генералами. Но толку, кажется, еще не было. Николай Юрьевичъ поѣздилъ три дня, а на четвертый слегъ. Зналъ, впрочемъ, что чуть станетъ полегче — опять поѣдетъ; графиня три раза въ день справлялась о его здоровьѣ и даже сама пришла какъ-то посмотрѣть, не притворяется ли.

Съ депутатомъ Воронинымъ, то-есть съ „дядей Воронкой", который пріѣхалъ только черезъ два дня, вышло странно. Пріѣхалъ растерянный, злой. Принялъ участіе—но все озирался, точно былъ чѣмъ-то въ корнѣ напуганъ, раздосадованъ и оскорбленъ.

Графиня не могла, конечно, знать, что дядя и самъ попался въ передѣлку: у Лизочки неожиданно сдѣлали обыскъ. Ничего не нашли, и ее не тронули, но когда пріѣхалъ дядя Воронка (хорошо еще, что не былъ въ самую ночь обыска!), Лизочка обливалась слезами, тряслась съ перепугу и такъ какъ-то вышло, что все узналось: и что обыскъ былъ изъ-за портнихи, а что портниху рекомендовалъ Юрій; портниха

же только послѣднюю ночь не ночевала, ушла совсѣмъ и унесла свое, — съ узелкомъ ушла. По слезамъ и отчаянію Лизочки дядя Воронка догадался, что Юрій весьма близокъ ея сердцу. Холодно отнесся къ Лизочкинымъ мольбамъ насчетъ Юрія. Что же тутъ можетъ сдѣлать дядя? Арестовали и арестовали.

Удивительное дѣло: не открылось одно—что у Лизочки въ квартирѣ была комната Юрія. Случайно онъ увезъ оттуда все, что могло на него указать. Случайно въ ночь обыска Лизочка спала не у себя въ спальнѣ, а у Юрія (любила тамъ спать, когда навѣрно знала, что онъ не придетъ).

И про комнату не узнали. Но и то, что̀ узналъ дядя Воронка, не могло привести его въ хорошее расположеніе духа. Къ Лизочкѣ онъ былъ привязанъ; однако... темныя исторіи, темныя исторіи! Какъ бы его еще не впутали?

Графиня кончила тѣмъ, что выбранила его и чуть не выгнала.

— Вотъ вамъ! Депутатъ!—жаловалась она потомъ.—Можетъ, и умный былъ человѣкъ, а попалъ въ депутаты—вертится, какъ карась на огнѣ, мычитъ, слова путнаго не добилась. Оглядывается. Заяцъ, не человѣкъ. Посадить бы депутатовъ этихъ всѣхъ, вотъ имѣло бы смыслъ.

Литта бродила, какъ тѣнь. Нѣсколько разъ хотѣла что-то сказать бабушкѣ и не рѣшалась.

Наконецъ узнали, что Юрій въ крѣпости.

Графиня поглядѣла на внучку круглыми жесткими глазами и объявила:

— Вашъ братъ въ равелинѣ. Вотъ до чего дошло! La forteresse! Ничему теперь не удивлюсь. Но тѣмъ менѣе мы должны терять энергію. Его должно освободить.

Литта вспомнила, какъ они ѣхали тогда съ острововъ мимо крѣпости. Грязныя сѣрыя стѣны. Такія обыкновенныя,

привычныя. И тамъ теперь гдѣ-то, за стѣнами, Юрій. Да вѣдь не одинъ Юрій.

Юрій—ничего, за Юрія не страшно, бабушка права, не за что его было, да и выхлопочутъ Юрія. Но не одинъ тамъ Юрій. И что, если?..

— Бабушка,—сказала Литта робко, рѣшилась наконецъ.— А у насъ Дидуся... Дидимъ Иванычъ, — не былъ? Онъ бы, можетъ, что-нибудь посовѣтовалъ...

Графиня посмотрѣла на нее.

— Дидимъ? Не былъ. Mais vous avez raison, petite. Онъ очень уменъ. Его не лишнее спросить, онъ имѣлъ свои столкновенія въ этихъ дѣлахъ. Давно не былъ. Чудакъ, mais il est trés fort.

И графиня задумалась. Потомъ сказала:

— Пусть побываетъ въ Царскомъ. Мы переѣзжаемъ послѣзавтра.

— Мы уѣдемъ? А какъ же?..

— Оттуда все это еще удобнѣе. Папà лучше. Будетъ ѣздить оттуда, къ кому понадобится. Дѣла, кажется, идутъ хорошо. Ne vous tourmentez pas, mignonne, — прибавила она съ торжественной ласковостью. — Votre pauvre frère nous sera rendu.

Литта, подумавъ, написала Саватову записочку. Просто, что grand'maman хотѣла бы видѣть его, что они переѣзжаютъ въ Царское. Прибавить къ этому ничего не посмѣла.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Море соленое и море зеленое.

На крылечкѣ садовникова домика сидитъ Литта. Около нея—Раичка, маленькая дочка садовника, которую Литта нынче

за лѣто выучила азбукѣ. Къ столбику крылечному прислонилась пожилая, степенная баба въ темномъ новомъ платкѣ. Глядитъ, вздыхая, на длинныя ягодныя гряды садовничьяго огорода, за которымъ вдали рдѣетъ заревая полоса, и лицо у бабы тихо-довольное.

Это мать садовниковой жены, Анюты. Пріѣхала къ зятю погостить. Садовникъ старый, а жена у него молодая. Изъ горничныхъ взялъ, модница, ну а мать—деревенская, тамбовскія, что ли, онѣ.

Графинина дача выстроена по-старинному; дача-усадьба, а не городской домъ. Помѣстительная, широкая, и садъ порядочный, и дворъ; за домикомъ, гдѣ живетъ садовникъ,—огородъ, гряды съ клубникой и викторіей. Литта не любитъ скучной террасы съ цвѣтами и парусиновыми занавѣсями. Все ее тянетъ на это крылечко, и просторъ закатный, заогородный, ей нравится, и дѣвочка Раичка ей нравится. Анюта слишкомъ бойка, хитра и почтительна. Вотъ съ этой бабой, Варварушкой, Литтѣ ловчѣе.

— Бабка мнѣ сказку вчерась сказывала,—болтаетъ Раичка.—Хо-орошую сказку.

— Правда, Варвара?—спросила Литта.—Ты сказки знаешь?

— Ну, что наши сказки деревенскія, барышнечка. Ужъ и позабыла ихъ всѣ. Мы-то, старухи, много чего знали. А теперешнихъ возьми-ка, и нѣтъ за ней ничего.

— Мама не умѣетъ сказки,—опять шалитъ Раичка.

— Мамка твоя зато въ книжкѣ читаетъ. И ты читай.

Варвара вздохнула и продолжала:

— Эка жисть-то, жисть-то у васъ какая! Тишина, благодать. Такъ это чисто, укромно. Попала моя Анютка, глядѣть не нагляжусь. Старе́некъ зятекъ, старе́некъ по ей, это слова нѣтъ, до вѣдь благодать! Словно королевна за имъ живетъ. У насъ, Господи батюшка! чего бы ни навидалась, хоть бы за какого богатея пошла.

— Да что жъ худого, Варвара. Ну, вышла бы за мужика... Жила бы въ родномъ мѣстѣ. Я не про Анюту, она ужъ городская, а вообще. Развѣ такъ ужъ плохо, если мужъ любитъ.

Варвара пригорюнилась.

— Не знаете вы, барышня, нашей жисти. Было намъ житье, а теперь ужъ вовсе послѣднее время приходитъ. Что мужику трудно жить, бабѣ вдесятеро. Любитъ мужъ! Онъ любитъ, да что съ него, коли пьетъ. Пьетъ, да бьетъ. Слышно, бывали по нашимъ мѣстамъ непьющіе мужики, на моей памяти бывали, ну а теперь такого мужика нѣтути. И ужъ повсемѣстно. Заиграла Россія, запила,—горе веревочкой завила, дрался народъ, кружился,—въ канаву завалился, да и посейчасъ тамъ.

Ранчка засмѣялась.

— Странно ты говоришь, Варвара,—промолвила Литта.— И страшно какъ-то. Впрочемъ, я, вѣдь, ничего не знаю.

— То-то, барышня бѣленькая, гдѣ тебѣ знать. Наша жисть тѣсная, мы тебѣ не покажемся. За двумя морями живемъ, за двумя непереходными: одно море соленое—слезы бабьи, другое море зеленое — вино мужицкое. Гдѣ жъ тебѣ знать! Не знаешь.

Варвара говорила все это не жалуясь, голосомъ довольнымъ, даже веселымъ. Баба бывалая, терпѣлая, прибаутчица.

Литтѣ, однако, хотѣлось перемѣнить разговоръ.

— А что, мужъ у тебя живъ еще?

— Старикъ-то? Ништо. И-и, пить какъ сталъ!

— И онъ еще пьетъ?

— Неужто нѣтъ? Лѣтось, на Тихвинскую, шли мы съ ярмарки, такъ онъ, пьяный, какъ взялся меня бить, какъ взялся—насилу господскій конюхъ встрѣчный отнялъ. Ништо старикъ, здоровый; на ноги вотъ маленько сталъ припадать,

какъ въ острогѣ посидѣлъ. И виномъ-то шибче послѣ того избаловался: что праздникъ, что будень...

— Въ острогѣ сидѣлъ? За что? Долго сидѣлъ?

— Долго, милая, долго. Какъ не долго. Напередъ его посадили, съ одной, значитъ, партіей, а Гришутку, меньшенькаго-то мого, ужъ послѣ. У насъ это всѣ, что подѣлаешь? Всѣ, почитай, въ острогѣ насижены. Иные попропадали, рази узнаешь? И Гришутка мой такъ пропалъ; а другого, глядишь, возворотятъ. Пришелъ старикъ. Божья воля.

— Какая Божья воля, ничего не понимаю,—разсердилась Литта.—Ты скажи, за что? Или это давно было? Четыре года назадъ тому было?

— Всяко, милая, всяко. Въ четвертомъ годѣ сгоняли сильно, что говорить. Сгонятъ, да сряду всѣхъ и угонятъ, это было. Которые, значитъ, возворотятся, — ну, другихъ сейчасъ берутъ. Гришутка-то, я и не взвидѣлась, попалъ. Молодой мальчонка, не шустрый такой былъ. Мы ждали, вернутъ; а замѣсто того и слуховъ нѣтъ. Что въ тѣ года, что нынѣ—бываетъ это, милая, бываетъ. Нынѣ, думаешь, не садятся въ острогъ-то? Садятся, милая, садятся.

Жужжалъ тихо-довольный голосъ Варвары. Литта ужъ не слушала, вся ослабѣла. Садятся, садятся... Всѣ пьяные, всѣ каторжные... Ни одного не пьянаго, ни одного не каторжнаго. И два моря: море соленое да море зеленое. Садятся... Божья воля.

Шурша юбками, вынырнула откуда-то изъ-за угла Анюта.

— Ахъ, вы здѣсь, барышня? Съ маменькой, никакъ, сумерничаете? Деревенскими прибаутками развлекаетесь?—заговорила она скоро и слащаво.—Затѣйница у насъ маменька! Для господъ интересно, сказку мужицкую разскажетъ, или пѣсню...

— Ну, я пойду. Прощай, Варвара. Прощай, Раичка...

Литта поднялась со ступенекъ.

— Тамъ гость, барышня, къ ихъ сіятельству пріѣхали,— тараторила ей вслѣдъ Анюта.—Мнѣ Гликерія Спиридоновна сейчасъ попалась, сказала. Вѣроятнѣе всего—къ обѣду. А за бариномъ, за генераломъ, Липатъ къ поѣзду выѣхалъ. Да что-то еще не видать, не возвращались. Ахъ, батюшки, какъ стемнѣло! Рано темнѣетъ. Августъ мѣсяцъ...

Литта пошла въ дачу черезъ дворъ. Въ большой тускло освѣщенной передней спросила графининаго Никиту; спросила, думая о другомъ:

— Кто у насъ?

— Господинъ профессоръ Саватовъ къ ея сіятельству.

Дидусь? Господи! Наконецъ-то! Въ первый разъ! Столько времени прошло, онъ въ первый разъ. Литта и ждать перестала. Кажется, онъ тогда написалъ графинѣ, что боленъ, и еще что-то написалъ... Литта перестала ждать.

И вотъ пріѣхалъ. Чему тутъ радоваться—Литта не знала, но радовалась.

Бѣжать сразу къ бабушкѣ—нельзя. Не любитъ этого бабушка. Нельзя. Онъ останется обѣдать. А вдругъ не останется?

Пошла къ себѣ, на вышку, пригладить волосы, переодѣться къ обѣду. Она живетъ нынче на самомъ верху, въ комнатахъ Юрія. Выпросила у графини.

Зашуршали у крыльца колеса, это Николай Юрьевичъ съ поѣзда, изъ Петербурга. Бѣлѣютъ глазастые фонари. Сейчасъ, значитъ, и обѣдъ.

Николай Юрьевичъ нынче не тотъ. Изъ-подъ палки графини началъ выѣзжать, сначала было вовсе слегъ,—но палка графинина неутомима, Николай Юрьевичъ понялъ это и покорился. Сперва покорился, а потомъ самъ втянулся. Возникъ. Match Пободрѣлъ, помолодѣлъ, и нога не смѣетъ болѣть. Кое-какія связи, дѣйствительно, подновилъ, и это ему нравится.

О Юріѣ хлопочетъ искренно, но исподволь; и радуется, видя, что изъ-за „несчастной случайности“ съ сыномъ на него нисколько не косятся. Напротивъ,—ободряютъ, утѣшаютъ, обѣщаютъ... Пожалуй, выгоритъ дѣло. Правъ былъ Юрій, не слѣдовало опускаться, Николая Юрьевича еще очень и очень могутъ вспомнить.

Загудѣлъ глупый гонгъ. Въ городѣ обходились безъ него, но на дачѣ уже такъ повелось,—гонгъ.

„Остался, остался!—думала Литта, весело сбѣгая съ лѣстницы.—Сейчасъ увижу!“

Въ деревянной столовой—обѣ приживалки (третью графиня куда-то сплавила). Пришелъ Николай Юрьевичъ, съ тростью, но бодрый, наконецъ вплыла графиня,—подъ руку съ Саватовымъ.

Онъ—маленькій, бѣленькій, похожій на птицу, но очень корректный и прекрасно одѣтъ.

— Какая большая барышня! Совсѣмъ курсистка!—полуудивленно протянулъ онъ, здороваясь съ Литтой, улыбнулся и сказалъ ей глазами что-то такое хорошее, близкое и доброе, что Литта отъ радости покраснѣла.

— Вотъ, берите ее съ будущаго сезона на свои курсы,—сказала графиня по-французски.—Я ничего не имѣю противъ курсовъ, руководимыхъ вами.

Саватовъ поклонился, а взволнованная Литта пробормотала:

— Ахъ да, grand'maman! Только, вѣдь, мнѣ нужно еще экзаменъ...

Когда сѣли за столъ, графиня обратила свою французскую рѣчь къ Николаю Юрьевичу:

— Monsieur Саватовъ привезъ мнѣ очень интересныя и цѣнныя свѣдѣнія... Но мы поговоримъ объ этомъ послѣ обѣда.

И она покосилась на молчаливыхъ компаньонокъ.

Разговоръ пошелъ обыкновенный. Литта молчала, изрѣдка

вскидывала глаза на своего Дидусю, и каждый разъ онъ отвѣчалъ ей хитрымъ, ласковымъ, знающимъ взглядомъ.

Кофе велѣно было подать въ маленькую угловую. Компаньонки остались, а Литта рѣшительно пошла за графиней. Она должна все знать.

Профессоръ въ самомъ дѣлѣ сообщилъ графинѣ кое-что новое. Онъ слышалъ, что въ ближайшіе дни послѣ ареста Юрія было арестовано много лицъ въ связи, будто бы, съ найденными у Юрія бумагами; слѣдствіе ведется, но Юрію никакого обвиненія еще не предъявлено. Если оно будетъ, то, конечно, откопаютъ что-нибудь старое, вѣрнѣе же такъ ничего опредѣленнаго и не будетъ: есть признаки, что дѣло хотятъ замять, по крайней мѣрѣ въ отношеніи Юрія.

— Ну-да, ну-да, мы сильно хлопочемъ,—сказалъ Николай Юрьевичъ, кивая головой.—А откуда это вы все знаете?—прибавилъ онъ, простодушно улыбаясь.

— Я за вѣрное не выдаю. Такъ, слухи носятся. Хлопотать очень не мѣшаетъ.

— Вотъ видите! — сіяла графиня, не теряя, впрочемъ, величественности.—Дидимъ Ивановичъ, мы получаемъ отъ него вѣсти. Побывавшія въ рукахъ этихъ... его gêoliers, но все же... Матеріально онъ нами устроенъ насколько возможно лучше. Не теряетъ присутствія духа. Это удивительный юноша! Сильное сердце! Пишетъ, что здоровъ и спокоенъ.

— Онъ очень наблюдательный,—сказалъ Николай Юрьевичъ.—Будетъ потомъ разсказывать намъ свои тюремныя впечатлѣнія.

Графиня замахала руками.

— De grâce! Избавьте! Какія впечатлѣнія? Совершенно никому ужъ эти тюрьмы не интересны. Я старуха, но и молодымъ давно оскомину набило. Кинулись, какъ безумные,

и въ обществѣ, и въ литературѣ: ахъ, революція! ахъ, заключенные! ахъ, то! ахъ, се! Ну и надоѣли сами себѣ. C'est demodé.

— Вы правы, графиня,—сказалъ Саватовъ.—Очень demodé. Объ этомъ не говорятъ. Но однако же это все есть. И революціонеры, и заключенные есть. Вотъ хоть бы Юрій.

— Никакихъ революціонеровъ, надѣюсь, нѣтъ... Ужъ не говоря о мѣрахъ, предпринятыхъ въ свое время, всѣ эти гадости въ ихъ собственной средѣ... должны ихъ въ корнѣ уничтожить. А если правительство настолько глупо, что продолжаетъ хватать и заключать юношей въ родѣ Юрія, то ему же хуже. Я это говорила. Такія gaffes не могутъ продолжаться вѣчно. Гдѣ теперь мятежники? Покажите мнѣ мятежника! Чуткое правительство и старыхъ-то всѣхъ выпустило бы. Они бы осмотрѣлись и навѣрно занялись бы чѣмъ-нибудь такимъ... съ пользой, мирнымъ.

— Ну, для амнистіи... пожалуй, рано,—надувъ щеки, сказалъ Николай Юрьевичъ.

— Я за чуткое правительство, мой милый. За то, чтобы правительство стояло въ курсѣ... comment dites vous? въ курсѣ общественнаго состоянія. А то ловятъ по сю пору крамольниковъ, когда о крамолѣ никто ни думать, ни слышать, ни читать не хочетъ!

— Ну, и слава Богу, графиня, что не хочетъ!—весело сказалъ Саватовъ.—А Юрія Николаевича зря засадили, тутъ вы совсѣмъ правы, я говорилъ: напрасно, напрасно!

— Вотъ и мужиковъ...—неожиданно сказала Литта, волнуясь, охрипшимъ отъ долгаго молчанія голосомъ.—Сàдятъ, сàдятъ... Неизвѣстно, за что?

— Comment?—удивилась графиня и подняла брови.—Какихъ мужиковъ? D'où prenez vous tout ça? Мужиковъ, очевидно, сàдятъ за пьянство и распущенность. Да, я гдѣ-то

читала: деревня очень распущена. Но какое это имѣетъ отношеніе къ нашему разговору?

— Это особая статья, особая,—усмѣхаясь, поддержалъ Саватовъ и всталъ, чтобы проститься.

— Нѣтъ, нѣтъ, вамъ еще рано... Я велю заложить лошадь...

И графиня позвонила.

Николай Юрьевичъ давно осоловѣлъ. Поднялся, опираясь на трость, чтобы прослѣдовать въ свои аппартаменты.

— Какая ночь славная! И теплая,—сказалъ Саватовъ, увидѣвъ въ сосѣдней комнатѣ черное пятно открытой на балконъ двери.

— Въ садъ темно,—поспѣшно заговорила Литта.—А вы посмотрите, какъ у насъ на балконѣ хорошо! Grand'maman боится сырости, чай мы по вечерамъ тамъ не пьемъ...

Саватовъ пошелъ за дѣвочкой. Остановились у перилъ, въ душистой теплой августовской чернотѣ.

У Литты билось сердце, искала самыхъ короткихъ, самыхъ нужныхъ словъ—и не находила.

— Милая...—сказалъ тихо старикъ.—Умница. Догадливая. Хорошая.

Литта подняла на него глаза. Увидѣла, въ лучѣ свѣта изъ комнатъ, его лицо, ласковое-ласковое, безъ улыбки.

— Вы, Дидуся... знаете развѣ?

— Знаю, знаю... Чего не знаю—о томъ догадался. И вѣсти вамъ хорошія... о томъ, о комъ думаете.

— Обошлось?—радостно вскрикнула Литта.—Охъ, какъ я рада!

— Въ другой разъ пріѣду—можетъ, письмецо вамъ привезу. Только ужъ вы, дѣточка, это письмецо...

— Да знаю, знаю!

— И правда, что мнѣ умницу учить.

— Я къ вамъ пріѣду, Дидусь. Вотъ какъ мы только въ Петербургъ переберемся.

— Пріѣдете? Какъ же такъ?

Онъ помолчалъ.

— Развѣ вотъ что придумаемъ? Вы про экзаменъ говорили. Хотите, мы васъ съ Орестомъ осенью приготовимъ? Живо. Пріѣзжать къ намъ будете. Это мысль!

— Дидуся! Какъ хорошо! Я способная, я скоро, Оресту не будетъ трудно. Только бабушка...

— Я предложу графинѣ,—сказалъ Саватовъ серьезно.— Это, вѣдь, не сейчасъ.

— Рада-рада, рада-рада,—по-дѣтски затвердила Литта и чуть-чуть не запрыгала.—Ахъ, рада. И то—удалось, и то—благополучно... Миленькій Дидусь! Все будетъ! Какъ хорошо на свѣтѣ!

Саватовъ поглядѣлъ въ ея блестящіе глаза, хотѣлъ разсердиться, но не могъ. Опять улыбнулся ласково.

Черезъ минуту она стояла въ передней, смотрѣла, какъ Дидусь надѣваетъ пальто, ищетъ свой клѣтчатый пледъ,—и радость не проходила.

Даже стыдно стало потомъ. Чему обрадовалась, какъ дѣвчонка? Хорошо на свѣтѣ? Чѣмъ хорошо? Попробовала нарочно вспомнить Варвару. Всѣ каторжные, всѣ пьяные... Одно море соленое, другое море зеленое...

Ну что жъ. Ну пусть. Это потомъ. А сейчасъ она рада. Рада, что удалось то дѣло—сохранилъ Богъ! и что вѣсти она станетъ получать, и къ Дидусѣ съ Орестомъ станетъ ѣздить—рада, рада!

Хорошо на свѣтѣ. Ничего еще нѣтъ—зато все будетъ. Это-то и хорошо, что будетъ.

ТРИДЦАТАЯ.

Явное и тайное.

Темны дни осенніе.

И лѣнивы: чуть пріоткроетъ день рѣсницы,—медленно пріоткроетъ, поздно,—поглядитъ сѣрымъ, оловяннымъ глазомъ—и опять ужъ завелъ его. Опять темно. Слезится темнота или потѣетъ—не поймешь: но грязный свѣтъ фонарей дрожитъ на тротуарахъ лоснистыми пятнами. Свѣтъ, а грязный. Не вступи—запачкаешься

И вотъ совершилось, наконецъ, въ эту пору, долго-жданное событіе. Рано, еще день едва расклеилъ слипшіяся вѣки, вернулся домой Юрій.

Пріѣхалъ просто на извозчикѣ. Думалъ, спятъ еще. Какой тамъ! Люди бросились къ нему. Гликерія цѣловала руки, обливаясь слезами. Выскочила Литта, совсѣмъ одѣтая, и повисла у него на шеѣ. Черезъ пять минутъ немного удивленный Юрій уже сидѣлъ въ столовой за кофеемъ въ присутствіи самой графини и, что еще необыкновеннѣе,—отца. Въ его колыхающіяся объятія Юрій перешелъ изъ сухихъ и сильныхъ рукъ графини, которая даже прослезилась,—когда это бывало?

Въ старыхъ домахъ, гдѣ къ тому же электричество проведено давно и лампы передѣланы изъ керосиновыхъ, свѣтъ особенно несвѣтлый. А когда въ черные петербургскіе дни зажигаютъ его,—онъ едва рдѣетъ, словно красная кучка, безлучно.

Такимъ рдянымъ комкомъ висѣла въ столовой лампа надъ Юріемъ и счастливыми его родственниками. Лица у всѣхъ зеленыя—отъ ранняго часа и двойственнаго свѣта. И странно, что свѣжѣе всѣхъ Юрій, хоть и просидѣлъ почти пять мѣсяцевъ „dans un cachot“, по выраженію графини.

Лицо чуть-чуть вытянулось, но такъ же оно дѣвически нѣжно, и попрежнему блестятъ каріе съ золотомъ глаза. Онъ остриженъ короче, а надо лбомъ вьется однако коричневая прядка.

Юрій говоритъ мало, весело вглядывается въ лица. Рѣшительно, отецъ помолодѣлъ. И палку за собой такъ только таскаетъ, для важности. А Литта постарѣла. Не выросла, а просто постарѣла. Чуть не двадцать лѣтъ ей можно дать. Блѣдная, строгая, платьице темненькое. А все-таки хорошенькая. Другая она какая-то.

Послѣ путанныхъ разговоровъ, отрывистыхъ вопросовъ и отвѣтовъ первой встрѣчи графиня не замедлила объявить Юрію свое рѣшеніе. Впрочемъ, назвала это рѣшеніе совѣтомъ.

Графиня полагала, что Юрію теперь лучше всего уѣхать на полгода или даже на годъ за границу. Конечно, если онъ и здѣсь останется,—можетъ быть спокоенъ: пальцемъ больше не посмѣютъ тронуть. Довольно. Стоитъ ли, однако, оставаться? Dans ce pays de произволъ... Здоровье не пошатнулось, но если не подумать о немъ во-время—все еще можетъ отозваться...

Съ обычной прямотой графиня прибавила, что „о средствахъ къ путешествію“ Юрій можетъ не безпокоиться.

Литта посмотрѣла на брата. Ей показалось почему-то, что онъ не согласится. Понравилось бы, если бъ онъ не согласился.

Но Юрій съ живостью всталъ и поцѣловалъ старухины кольца.

— Чего же лучше, chère, chère madame? Какъ мнѣ благодарить васъ за всѣ ваши заботы? Я и самъ думалъ уѣхать... Куда-нибудь въ Германію; мнѣ хочется заниматься. Если не устроюсь въ Германіи—тогда ужъ въ Парижъ, опять въ лабораторію къ X.

— Куда хотите, дитя мое,—сказала растроганная графиня.—Ваша любовь къ занятіямъ достойна уваженія, но помните: вамъ нуженъ и отдыхъ.

Юрій улыбнулся молча. Еще бы! Конечно, ему нужно и то и другое, нужно все.

Уѣхать—его толкала и мысль о Наташѣ. За эти долгія недѣли онъ не забылъ внезапно пришедшей веселой мечты о Наташѣ. И ему нравилось, что не забылъ.

Только гдѣ Наташа? Гдѣ искать ее? Хоть бы приблизительно указалъ кто-нибудь. Въ Парижѣ—врядъ ли.

Рѣшено было, что Юрій уѣдетъ черезъ недѣлю. Чѣмъ скорѣе—тѣмъ лучше.

Легко, съ усмѣшкой, Юрій заговорилъ о своемъ тюремномъ затворничествѣ. Но графиня все таки морщилась: дѣйствовало на нервы. Да и то: дѣло прошлое. Юрій пересталъ разсказывать.

Когда можно остаться съ нимъ вдвоемъ? Литтѣ такъ нужно, такъ хочется. Онъ—какъ былъ, но столько надо сказать ему, узнать отъ него; онъ какъ былъ, но не совсѣмъ же, какъ былъ? Литта замѣтила морщинку надъ правой бровью; она у него всегда, когда ему досадно или заботливо.

Не разсказовъ о тюрьмѣ она ждетъ. Богъ съ ними, съ его разсказами. Нѣтъ, другое.

И, однако, робѣетъ. Вотъ, не посмѣла пойти за нимъ, когда онъ отправился въ свою комнату умываться и устраиваться. Ну, пусть отдохнетъ.

Завтракали вмѣстѣ. Но послѣ завтрака—уже готова карета, надо ѣхать на урокъ. Литта ѣздитъ одна, на Петербургскую сторону, въ квартиру Саватова. Готовится къ экзамену.

Обѣдали опять вмѣстѣ. Но послѣ обѣда Юрій ушелъ къ отцу, а потомъ куда-то уѣхалъ.

Къ ужасу и недоумѣнію Литты прошло три дня, а она

такъ все и не успѣвала поговорить съ братомъ. Онъ совсѣмъ ея не избѣгаетъ. Одинъ разъ даже какъ будто самъ хотѣлъ подойти, позвать ее къ себѣ, вѣроятно, а она не поняла.

Графиня устроила торжественный завтракъ въ честь „неблуднаго сына“, какъ она говорила. Были всякіе генералы, важные и неважные, военные и статскіе. Былъ „дядя Воронка“, только что пріѣхавшій изъ имѣнія, къ открытію Думы. Присутствовалъ, конечно, и неизмѣнный Модестъ Ивановичъ. Графиня хотѣла позвать и Саватова, но въ послѣднюю минуту отдумала. „Онъ другъ интимный, эти его не поймутъ“... Графиня—женщина съ тактомъ.

Юрій за завтракомъ былъ необыкновенно веселъ, необыкновенно милъ. И Литтѣ казалось, что всѣ важные генералы должны радоваться, что своевременно приняли участіе въ судьбѣ такого прекраснаго, скромнаго юноши.

Пріѣхала въ этотъ день Литта домой съ урока, къ обѣду,—и рѣшилась твердо: иду сегодня, буду съ нимъ говорить.

Узнала, что Юрій дома не обѣдаетъ. „Все равно, вечеромъ, дождусь его“.

Поздно, въ одиннадцатомъ часу, блуждая по коридору, услышала, что онъ вернулся и прошелъ къ себѣ.

— Юруля. Ты здѣсь? Можно?

Онъ стоялъ у письменнаго стола, въ свѣтломъ кольцѣ лампы, и читалъ какую-то записку. Быстро обернулся.

— Кто это? Улитка? Входи, входи...

— Ты не занятъ? Ты сейчасъ не уѣзжаешь?

— Нѣтъ, не поѣду. Погода отвратительная, да у меня, кстати, и голова немножко болитъ.

Онъ бросилъ письмо на столъ, сдѣлалъ два шага навстрѣчу сестрѣ и взялъ ее за руки.

— Иди, иди, Улитка. Ты еще ни разу у меня не была. Отвыкла, дичишься? Стала такая чужая.

Они сѣли рядомъ, на большой диванъ, въ затѣненіи.

— Я не дичусь, Юрій. Я все время собиралась прійти. Да какъ-то не выходило.

— Ну, поболтаемъ. Ты теперь умная, большая барышня. Самостоятельная. Къ Саватову ѣздишь? Занимаешься?

— Да. Только я не хочу болтать. А мнѣ о серьезномъ, объ очень важномъ хотѣлось съ тобой говорить.

— О чемъ же серьезномъ, дѣтка? Ну, говори.

— Юрій, вотъ ты уже скучаешь. Я такъ не могу.

— А я что могу? Я не знаю, чего ты хочешь. Не знаю, какъ ты тутъ жила, съ кѣмъ видѣлась, съ кѣмъ не видѣлась. И о чемъ сейчасъ думаешь. Что же я-то тебѣ скажу?

Она помолчала. Хотѣла рѣшиться на что-то—и не смѣла. Было такъ больно отъ страха и отъ недовѣрія. Сдержанно вздохнула.

— Ну, хорошо. Я, вѣдь, тоже не знаю, какъ ты это время жилъ, съ кѣмъ видѣлся, что и кому говорилъ... Ты о Михаилѣ знаешь?

Юрій взглянулъ на нее остро. Смущеніе ея и недовѣріе онъ отлично замѣтилъ и, пожалуй, понялъ. Очевидно, за это время она кое съ кѣмъ сталкивалась и кое-чего наслушалась. Но неужели говорить съ ней серьезно? Да и зачѣмъ? Отвѣтилъ просто:

— Михаила, къ счастію, тогда не арестовали. У меня въ бумагахъ врядъ ли могли найти на него указанія. И какъ хорошо, что я рѣшительно ничего о немъ не зналъ, ни адреса его,—ничего.

— Хорошо, что... не зналъ? А если бъ зналъ?

Юрій разсмѣялся.

— Теперь-то понятно, что нѣкій милый человѣчекъ и на это, между прочимъ, разсчитывалъ, то-есть что я о Михаилѣ что-нибудь знаю. Пусть, молъ, объяснитъ, а я въ сторонѣ...

На этихъ загадочныхъ словахъ онъ вдругъ перебилъ себя:

— Да, да, очень радъ, не пришлось тутъ никому въ руку сыграть. И за Михаила радъ. Ему плохо попасться. Многіе изъ нихъ славные люди. Михаилъ и Наташа въ особенности. Я ихъ не забываю. И вотъ теперь, когда я, по счастливой случайности, узналъ нѣчто очень для нихъ важное...

Литта въ волненіи приподнялась.

— Юрій... Что? Что такое?

Но Юрій покачалъ, улыбаясь, головой.

— Такъ, объ одномъ человѣкѣ... Не для тебя, вѣдь, важное,—для нихъ...—сказалъ онъ лукаво. И прибавилъ:

— А что Михаилъ? Ты, очевидно, имѣешь о немъ извѣстія. Гдѣ онъ? Здѣсь? Съ него станется.

— Онъ... — начала Литта и вдругъ запнулась. Опять странно у нея сжалось горло, останавливая слова. Говорить? Не говорить?

Юрій нахмурился. Надоѣло это, стало скучно. Онъ потянулся къ столу, закурилъ папироску и произнесъ покойно:

— Ты, Улитка, сдѣлалась ужасно конспиративна. Такъ и запахло отъ тебя конспираціей, точно ты банка со старыми духами. Вѣдь не я этотъ разговоръ началъ! А ужъ коль начинаешь, такъ разговаривай по-человѣчески.

Литта вспыхнула.

— Юрочка, ты прости. Мнѣ, вѣдь, тоже очень трудно. Я, вѣдь, не знаю многаго...—Михаилъ не здѣсь, но близко,—прибавила она съ усиліемъ.—Я получаю отъ него вѣсти... Коротенькія записочки, у Саватова.

— Дидусь? Вонъ онъ какой ловкій. Тряхнулъ стариной...

— Нѣтъ, такъ... Они любятъ Михаила. Разъ я даже видѣлась у нихъ съ Михаиломъ. Только разъ. Не слѣдуетъ ему...

— Конечно, не слѣдуетъ. Ну что жъ онъ тебѣ говорилъ? Что писалъ?

— Разное... Коротенькія записочки. Говорилъ, между

прочимъ, что тебя должны скоро выпустить, что ужъ теперь ясно. И правда...

Юрій подумалъ.

— А о письмѣ, которое я, тайными путями, получилъ отъ него въ тюрьмѣ, говорилъ тебѣ?

Она вздрогнула.

— Письмо? Нѣтъ, я не знала. О чемъ? Онъ о чемъ-нибудь спрашивалъ?

— Да, спрашивалъ,—съ улыбкой проговорилъ Юрій.— Ты, кажется, догадываешься? Онъ хотѣлъ узнать прямо отъ меня, какъ... какъ прошли мои допросы. Вѣрилъ, что я ему не солгу. Съ удовольствіемъ отвѣтилъ бы теперь... если возможно это.

— Юрій...—начала Литта и привстала немного. Въ ней горѣла душа, хотѣлось спросить, что́ же отвѣтитъ онъ? Что? И слова не шли съ языка.

— Очень, очень трудно съ письмами,—сказала она тихо.—Онъ самъ давно не пишетъ, развѣ случайно, окольная записочка Оресту... И передавать трудно. А возможно. Все возможно.

Юрій вдругъ перебилъ ее, не слушая:

— А ты не знаешь, гдѣ именно теперь Наташа? Вотъ во-время уѣхала, умница.

— Не знаю,—сухо сказала дѣвочка.

— Михаилъ знаетъ?

— Вѣроятно. Я у него не спрашивала.

Юрій помолчалъ.

— Ты чего же, сестренка? Обидѣлась? Я тебя прервалъ.

— Нѣтъ, такъ. Все равно.

— Ахъ, что за скука! Точно тебя подмѣнили! И чего хочешь? Вѣдь вотъ я безъ всякихъ секретничаній, открыто говорю съ тобой, попросту говорю, что съ большимъ удовольствіемъ даже повидался бы съ Михаиломъ, будь это

возможно. Цѣлыхъ три дѣла къ нему. Во-первыхъ, отвѣтъ на его письмо, прямой и точный. Во-вторыхъ, очень хочется приподнести ему одинъ документикъ! Люди милые, только слѣпые, жалѣю ихъ. Если случайно узналъ, съ достовѣрностью, кто ихъ обманываетъ,—какъ не сказать, не помочь, уѣзжая? А въ письмѣ этого не скажешь, не напишешь. Третье дѣло... ну, это ужъ мое личное, пустякъ, насчетъ адреса Наташи. И вотъ, я...

Литта не выдержала. Покраснѣла вся, стала прежней дѣвочкой, схватила брата за руки, папиросой его обожглась.

— Ахъ, Юрикъ, милый! Нѣтъ, я вѣрю, вѣрю... Ахъ, какъ хорошо, чтобы ты повидался съ Михаиломъ. Онъ мнѣ то же говорилъ, то же, что очень бы это хорошо... если ты самъ захочешь, конечно. И вотъ ты самъ. И еще у тебя такое важное... Спасибо тебѣ.

Юрій ходилъ по ковру темноватаго кабинета и думалъ. Замолкла и Литта. Опять чего-то испугалась.

— Послушай, сестренка, говори прямо. Свиданіе возможно?

— Это какъ ты...

— Что я? Я свободенъ, обо мнѣ не толкъ, я и за границу уѣзжаю. Онъ-то гдѣ?

— Въ Петербургѣ нельзя свидѣться. Никакъ нельзя...

— Я тебя не о томъ спрашиваю!—крикнулъ Юрій.—Я спрашиваю, гдѣ Михаилъ?

— Онъ... Онъ въ Финляндіи, Юра,—заторопилась она.— Прости меня! Я сама не знаю, что со мной. Я путаюсь. Но вѣрю тебѣ, вѣрю! Онъ въ Финляндіи, да. Не живетъ на одномъ мѣстѣ. Но вы могли бы съѣхаться...

— Съѣхаться? Да, ты путаешь много, дѣтка. Чему это ты вѣришь? Что я на допросахъ не оговаривалъ всѣхъ направо и налѣво, не выдавалъ то, чего не знаю и что знаю,

не вредилъ другимъ ради вреда? Еще бы! Нѣтъ, не томъ дѣло, а...

Онъ, размышляя, прошелся по комнатѣ.

— Что же, Юра?—шепнула Литта робко.

— Не знаю, право... Не очень удобно... Куда это къ нему тащиться...

— Юрій, вѣдь ты самъ... Ну, не надо.

Юрій еще помолчалъ.

— Правда, самъ... Я бы повидался. Жаль ихъ, бѣдненькихъ. Уѣдешь—тамъ ужъ не до нихъ. Забуду я. А сказать бы надо Михаилу. Письмо-то послать, значитъ, можно?

— Трудно очень... Да можно. Но, вѣдь, ты сказалъ, что въ письмѣ самаго важнаго не напишешь?.. Лучше бы записку, гдѣ свидѣться, около Гельсингфорса или гдѣ... Ты бы назначилъ.

Онъ опять задумался.

— Ну да, поѣду я къ чорту въ трубку въ Гельсингфорсъ еще... Нѣтъ, дѣтка, не выйдетъ. Не стоитъ. Письмо дамъ завтра, отправляй какъ знаешь.

Говорилъ съ лаской, и лицо у него дѣлалось все веселѣе.

— Ну что, конспираторша, надулась? Право, если бъ не отъѣздъ скорый, я бы еще погадалъ. Помимо всякихъ дѣлъ,— забавно напослѣдкахъ окунуться въ самую гущу „конспираціи", ѣхать тайно и среди финляндскихъ скалъ и снѣговъ итти „закрывъ лицо плащомъ"... Снѣговъ-то, положимъ, нѣтъ пока, а безъ „плащей" бы дѣло не обошлось...

Литта встала блѣдная.

— Я тебя прошу, не смѣйся. Можешь дѣлать, что угодно, но смѣяться не надъ чѣмъ. Я не позволю. Это тебѣ не игра, не игра!

— Ой, какая сердитая! Ну маленькая моя, ну сестреночка моя, улиточка моя свѣтленькая, улыбнись скорѣе! Развѣ я тебя хочу обижать? У меня, можетъ, своя манера

конспирировать? Вотъ одна максималистика все смѣялась,—смѣялась, шутила—шутила, а между тѣмъ такъ себя законспирировала, что окончательно пропала, близкіе товарищи даже не могутъ узнать, гдѣ она! Дѣтка моя хорошая, смотри ты, пересерьезничаешь!

Онъ тормошилъ ее, цѣловалъ нѣжную щеку около уха, заглядывалъ въ глаза. И она не выдержала, улыбнулась.

— Ага, не сердишься, смѣешься! Мы еще ребята съ тобой, намъ пошалить не грѣхъ. Какъ давно не видались, а ты ко мнѣ съ важностью. Ну иди, маленькая, поздно. Успѣемъ наговориться, я раньше того четверга врядъ ли уѣду.

И прибавилъ серьезнѣе:

— А письмецо я завтра тебѣ приготовлю. Помудрите съ Дидусей, какъ его переправить. Не бойся, я тоже постараюсь такъ и этакъ, обинякамн... Что можно написать—то и напишу. Подумаю.

Литта ушла. И было у нея на душѣ мутно, вопросительно, недоумѣнно. Не о себѣ, не о своемъ, не о Михаилѣ... Нѣтъ, въ глубинѣ—ясно, тихо, твердо. А вотъ тутъ, близко, около, вьется что-то, и грозное, и неуловимое, и непонятное—сѣрое. А она какъ слѣпая.

„Ну пусть... Ну пусть...—думаетъ Литта, медленно раздѣваясь въ бѣлой своей спаленькѣ.—Можетъ, и надо мнѣ тутъ чего-то не знать. Я свое буду знать. Юрій милый—и страшный. Отчего страшный?“.

Завернулась съ головой въ одѣяло, сердце колотится, все—страшно. Она глупая, глупая, еще маленькая, еще слѣпая. Открыла глаза — темно, черно, совсѣмъ точно и вправду она слѣпая.

Нѣтъ, ничего, ничего, это темнота. Зажечь лампадку Гликерія забыла,—вотъ и все.

Думаетъ дальше, ужъ не о Юріи, а о немъ, о Михаилѣ.

Онъ не страшный. И даже за него не страшно. Не случится съ нимъ худа, не случится. Можетъ, никогда не увидятся они больше?.. Ну что жъ, Литта и одна пойдетъ... куда? Къ своему, по-своему, какъ сумѣетъ. Все равно.

Но они увидятся. Нельзя, чтобъ не увидѣлись. Такая длинная, длинная жизнь впереди, и никогда? Нѣтъ, нѣтъ, она знаетъ, все будетъ. Все будетъ.

Литтѣ уже не страшно. Кругомъ темнота,—а внутри, въ глубинѣ,—засвѣтлѣло, точно лампадка горитъ. Тамъ ясно, тамъ она не слѣпая.

Туда и смотрѣть. Смотришь туда—нѣтъ страха. Опять вѣра: все будетъ.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Вокзальные люди.

Съ вечернимъ поѣздомъ прибылъ на городской вокзалъ человѣкъ, по виду изъ купеческаго званія, бородатый, въ синей чуйкѣ и въ картузѣ.

Прошелъ, вмѣстѣ съ другими пассажирами, въ буфетный залъ, высокій, холодноватый. Вокругъ было шумно, хлопали двери.

Кто ѣхалъ дальше — спѣшилъ перекусить. Толпились у буфетной стойки—тамъ свѣтло и даже будто теплѣе: дымятся блюда съ макаронами, котлетами, сосисками, пахнетъ вкусно горячимъ кофеемъ.

Солидная финка разливаетъ кофе и покровительственно слѣдитъ за пассажирами: они сами берутъ тарелки, накладываютъ, что приглянется, и отходятъ къ столикамъ, въ глубину.

Бородатый пассажиръ навалилъ себѣ полную тарелку ма-

каронъ, спросилъ пива и пошелъ въ самый дальній уголъ. Сѣлъ тамъ за непокрытый столикъ у окна, высокаго, черваго. Ѣсть началъ медленно. Пиво выпилъ, еще взялъ.

Зазвонили, задвигались, двери пуще захлопали... И вдругъ сдѣлалось тихо. Ушелъ поѣздъ.

Кое-кто остался за столиками. Остался и пассажиръ въ чуйкѣ; его почти не видно въ затѣненномъ углу. Финскія дѣвицы, въ чистыхъ передникахъ, хлопочутъ у буфета, новыя блюда съ сосисками откуда-то вытаскиваютъ: сейчасъ опять поѣздъ, съ другой стороны. Да и онъ не послѣдній.

Не русскій вокзалъ. Въ томъ, какъ стаканъ стоитъ, какъ двери хлопаютъ, даже въ самой суетѣ чувствуется не русское, не россійское. Пассажиры въ такой вокзалъ не вваливаются, а входятъ. Суета безъ растерянности. У финки за буфетомъ лицо благожелательное, но двигается она не поспѣшно, да и всѣ дѣвицы-прислужницы не столько служатъ, сколько надзираютъ. Работать онѣ совсѣмъ не прочь: руки сильныя, тащитъ дѣвица корчагу съ супомъ или кофейникъ, ростомъ съ самоваръ,—ничего, даже не согнется. А „служить", то-есть метаться въ стороны, какъ мечутся русскіе вокзальные лакеи въ прожиренныхъ фракахъ,—этимъ дѣвицамъ несвойственно, вѣрно, и въ голову не приходитъ.

Опять звонокъ, опять захлопали двери, опять толкотня у буфета,—и вкусно пахнетъ свѣже-заваренный кофе.

Два пассажира, съ тарелками, съ какой-то бутылкой и стаканами, пошли къ дальнему столику, гдѣ тихо и невидно ютился человѣкъ въ картузѣ, сѣли почти рядомъ съ нимъ.

Одѣты оба незамѣтно; такъ незамѣтно, что видишь ихъ — словно и не видишь. Есть одежда,—въ ней какъ въ шапкѣ-невидимкѣ. Не всякому и не сразу дается эта шапка-невидимка. Безъ долгихъ стараній ея не добудешь.

Бородатый человѣкъ, однако, замѣтилъ обоихъ. Удивился

про себя. Онъ ждалъ одного; другого, —высокаго, сутулаго, съ длинными сильными руками,—даже и не зналъ.

А потому, не глядя въ сторону сосѣдей, принялся пока допивать свое пиво.

Ближайшіе столики были свободны. Тамъ, къ буфету,—еще сидятъ, ѣдятъ, говорятъ, невнятно: тихое жужжанье ползаетъ по вокзалу.

— Не угодно ли нашего испробовать?—сказалъ бородачу ближайшій изъ его новыхъ сосѣдей.—Хорошее питье. Здѣшнее. Не безъ крѣпости, однако ничего.

Тотъ поглядѣлъ изъ-подъ бровей.

— Можно и здѣшняго.

— Я стаканъ принесу, да кстати еще бутылочку,—сказалъ длиннорукій и пошелъ къ буфету.

Бородачъ поглядѣлъ на другого, на того, кого зналъ и ждалъ, и произнесъ:

— Письмо.

— Ага. Очень хорошо. Вы не безпокойтесь, Сергѣй Сергѣевичъ. Это мой товарищъ, Юсъ.

— Онъ что же знаетъ?

— По этому нашему дѣлу? Да такъ. Что надлежитъ.

Сергѣй Сергѣевичъ помолчалъ.

— А я ужъ рукой было махнулъ,—сказалъ онъ раздумчиво.—Второй день по вокзаламъ. Ужъ боялся, какъ бы съ хвостомъ не очутиться. Да нѣтъ, не замѣтно. Въ лицо они меня никто не знаютъ.

— Не видать, — подтвердилъ весело Михаилъ. — Вчера было мнѣ туда не попасть. А нынче, вотъ, счастливо.

Говорили не тихо, не громко. Обыкновенно. Слушать было некому.

Незамѣтнымъ движеніемъ Сергѣй Сергѣевичъ положилъ на столъ, около тарелокъ, небольшой синеватый конвертъ и отвернулся, доѣдая охолодѣвшія макароны. Такъ же неза-

мѣтно и быстро Михаилъ распечаталъ конвертъ и пробѣжалъ крупно исписанный листокъ, не снимая его со стола.

Потомъ взглянулъ на Сергѣя Сергѣевича, еще разъ проглядѣлъ письмо и спряталъ.

— Онъ самъ вамъ привезъ?

— Нѣтъ... Она. Просила на словахъ передать, если можно будетъ...

— Что?

— Да вотъ, что онъ очень хотѣлъ... свиданья, что самъ первый даже заговорилъ... но потомъ отдумалъ. Не можетъ, уѣзжаетъ. И за васъ безпокоится. Оно правда, по вокзаламъ-то вамъ съ нимъ путаться—куда же? За нимъ бы ужъ теперь семь хвостовъ волочилось, поѣзди онъ какъ я. Привезъ бы вамъ угощеніе.

— Пожалуй. Больше ничего она не говорила?

— Говорила, что будто бы очень онъ жалѣлъ, что важное дѣло у него къ вамъ, про которое въ письмѣ не напишешь... Какое—говоритъ, не знаю. Вотъ однако далъ письмо.

Михаилъ кивнулъ головой.

— Да. Да. Хорошо. Такъ, значитъ, и будетъ.

— Отвѣтъ?

— Отвѣтъ на словахъ: да, хорошо. Это ей завтра же скажите, чтобъ она ему передала. Я и написать это могу ей.

— Не надо. Не забуду. Ну ихъ, не ровенъ часъ у нихъ въ Бѣлоостровѣ. „Хорошо"—ну и ладно.

— Такъ ей скажите еще... ей, собственно... ну, что, вотъ, видѣли меня, что я... что мы съ ней увидимся, я вѣрю.

— Да ужъ скажу. Какъ не увидаться! Переходятъ времена у человѣка.

— Хорошо, хорошо... А давайте-ка выпьемъ лучше! Вонъ Юсъ несетъ и стаканчикъ, и все прочее! Переходятъ вре-

мена, а наше еще не перешло. Много его передъ нами! Пожалуй, минутъ сорокъ, а то и часъ.

Подошелъ Юсъ и сѣлъ.

— Въ городѣ не остаться ли мнѣ?—спросилъ онъ Михаила.—Или ты останься.

— Зачѣмъ? Пустяки! Проводимъ его степенство, и со слѣдующимъ айда вмѣстѣ. Дѣвицы здѣсь, слава Богу, такія нелюбезныя, что ни малѣйшаго вниманія на насъ не обратили. Выпьемъ-ка лучше въ компаніи!

Налили. Выпили. Крѣпковато „питье", но Сергѣю Сергѣевичу не привыкать же стать.

Михаилъ тоже не пьянѣлъ, хотя, должно быть, уже пилъ и раньше. У него странное сегодня, жесткое и темное лицо, синій взоръ не тяжелъ, но остръ и горекъ. Сергѣю Сергѣевичу подъ этимъ взоромъ не то жутко, не то совѣстно. Самъ даже удивляется.

— Вотъ и выпьемъ нынче съ вами по-хорошему, дорогой вы Сергѣй Сергѣевичъ,—смѣется Михаилъ.—Иной разъ слѣдуетъ выпить. Мы не святые. А у васъ какъ, по вашему уставу, не возбраняется?

Сергѣй Сергѣевичъ пожимаетъ плечами.

— Ну чего. Какіе тамъ уставы. А только, вотъ, на вокзалѣ-то сидѣть да разговаривать... Что ужъ за мѣсто для компаніи.

Юсъ засмѣялся.

— Для нашей компаніи самое мѣсто. Мы вѣдь такъ и живемъ, будто на вокзалѣ. Пріѣхали — глядишь, зазвенѣлъ звонокъ, фьюить, засвистѣло—уѣхали, и нѣтъ насъ.

— Это, вотъ, вѣрно!—сказалъ Михаилъ.—А вы, Сергѣй Сергѣевичъ, нынче привыкли съ удобствами разговоры разговаривать? Въ собственныхъ креслицахъ, въ невозбранной тишинѣ? Тутъ, конечно, безпокойство, пассажиры, двери

хлопаютъ... Да мы-то ужъ такіе этакіе; дѣло наше такое, — вокзальное, неприкаянное...

— Чего ты, Шуринъ? Брось,— сказалъ Юсъ.

— Не бѣда. Вы не сердитесь, Сергѣй Сергѣевичъ? Я вѣдь любя. Давайте, на „ты“ выпьемъ. Ладно? И съ вокзальными людьми на „ты“ можно выпить.

— Можно,—согласился Сергѣй Сергѣевичъ.—А сердиться за что же? Не пойму только васъ...

— Непонятенъ сталъ? Вотъ какъ. Ничего. Въ глаза поглядите—поймете. Сами говорили, всякаго человѣка по глазамъ понимаете. Пока что—выпьемъ, голубчикъ!

Выпили. И Юсъ выпилъ. Они съ Сергѣемъ Сергѣевичемъ нравились другъ другу.

— Вотъ, Юсъ,—началъ опять Михаилъ,—есть у нашего Сережи два друга. И они, и Сережа—славные люди, умные, и намъ, вокзальнымъ каинамъ, сочувствуютъ. Совѣты даютъ, навѣрно хорошіе, да очень ужъ для насъ, глупыхъ людей, туманно, непонятно. Между собой они дружны, всѣ живутъ вмѣстѣ и видъ такой имѣютъ, точно секретъ знаютъ, да не скажутъ. Хорошо имъ. Кому сочувствуютъ—совѣты. Эхъ, Юсъ, завести бы и намъ троебратство, не мыкались бы мы по вокзаламъ!

— Ну, однако, дудки! — сказалъ Сергѣй Сергѣевичъ, сдерживая голосъ.—Пьянъ ты—или не пьянъ, а я тебѣ этакъ говорить не позволю. Ты у меня замолчишь. Либо говори по-серьезному. Я тебѣ отвѣчу.

— Могу и серьезно. Даже хочу серьезно. А пьянымъ я никогда и не бываю. Нѣту здѣсь друзей твоихъ — все равно. Я всѣмъ вамъ говорю.

— Оставилъ бы, Шуринъ...—опять вмѣшался Юсъ.

— Нѣтъ, пусть говоритъ! — чуть не закричалъ Сергѣй Сергѣевичъ.—Можетъ, это правда въ немъ говоритъ. Пусть.

Михаилъ поглядѣлъ на него и сказалъ печально:

— Я про то, Сережа, что теперь всякому, кто хоть на волосинку больше знаетъ, дальше видитъ, — всякому надо пойти къ намъ, вотъ къ такимъ, на перепутьѣ, какъ я, напримѣръ, и помочь. Некогда разговоры между собой за чайкомъ, въ тишинѣ, разговаривать. Сочувствія да туманныхъ совѣтовъ вашихъ, коли такъ,—вовсе ненужно. Вѣдь это же сектантское да обывательское сочувствіе.

— Нынче и обывательское, и оно рѣдкость, — сказалъ Юсъ.

Сергѣй Сергѣевичъ помолчалъ.

— На волосинку,—произнесъ онъ наконецъ,—на волосинку-то больше, можетъ, и знаемъ. Да что съ нея, съ волосинки-то? Чѣмъ поможешь?

— Чѣмъ? Эхъ, Сережа! Какъ это не знать, чѣмъ помочь, коли хочешь? Дѣломъ маленькимъ, словомъ яснымъ... Слово ясное—великая сила, когда за этимъ словомъ весь человѣкъ стоитъ. За совѣтомъ не стоитъ, оттого совѣты и не помощь, совѣты издали, отъ „сочувствующихъ", отъ непомогающихъ. Вотъ ты съ письмомъ сюда на вокзалъ пріѣхалъ,—такъ и то даже больше совѣта. А думаешь, слово-то ясное, про которое говорю, что за нимъ весь человѣкъ стоитъ,—не нужно оно? Волосинка-то?

Но вдругъ махнулъ рукой.

— Нѣтъ, и этого не умѣю сказать. Хорошо вамъ, ну и живите себѣ по-своему. Мы, вокзальные люди, вамъ не товарищи.

— Да ты погоди рукой махать!—опять крикнулъ Сергѣй Сергѣевичъ, самъ испугался и продолжалъ тише:

— Вотъ, давеча Юлитта Николаевна про то же. Коли „сочувствіе", говоритъ, такъ неси что имѣешь, а сидѣть нечего. Сидѣть! Тебѣ креслица наши показались. А того не понялъ, путанная ты голова, что мы и сами такіе же люди вокзальные, три штучки непристанныя? Чего съ нашихъ вок-

заловъ на свои зовешь? Давай въ одно мѣсто съѣдемся, землицу купимъ, давай свой домокъ строить! Вотъ будетъ дѣло. Вотъ тогда и всякая волосинка пригодится. И будетъ оно! Не миновать. Это ты вѣрно, чтобъ человѣкъ за своимъ словомъ весь стоялъ, а не совѣты для приходящихъ. Креслицами не попрекай: вокзалъ это нашъ, а не креслицо. У самого оно вотъ ужъ гдѣ сидитъ!

Юсъ не равнодушенъ. Съ любопытствомъ слушаетъ разговоръ, но удивляется:

— Аллегоріи ужъ какія-то пошли. Дома хотятъ строить. Это что же должно обозначать? Скажи ты мнѣ, милый человѣкъ, путемъ: какое это треобратство, чего надо-то? Шуринъ толкуетъ...

Сергѣй Сергѣевичъ озлобился.

— Глупые люди наболтали, троебратство! Коли хочешь знать, вотъ тебѣ. Дѣло одно случилось тогда на заводѣ. Худое было дѣло...

— Знаю, знаю,—прервалъ Михаилъ.—Помнишь, Юсъ, я тебѣ разсказывалъ на ночевкѣ?

Юсъ кивнулъ головой.

— Ну вотъ, — продолжалъ Сергѣй Сергѣевичъ. — Нехорошо обернулось. Тутъ Орестъ хроменькій чуть разсудка не лишился. Да и меня прихлопнуло. Какъ же, думаю, такъ? Не безъ меня оно все и дѣлалось. А я, хоть и партійнымъ былъ человѣкомъ, давно ужъ во всякихъ разныхъ мысляхъ находился, въ смятеніи душевномъ. Ну, я къ нимъ, къ старику да къ хроменькому. Много тутъ вмѣстѣ поплакано, умомъ пораскидано. Думаемъ: какъ это нѣтъ ни въ чемъ удачи? Что ни возьми: хотятъ люди по-хорошему—а идетъ на худое. И дѣло пропадаетъ, и сами пропадаютъ. Хоть бы васъ взять... Прежде-то, вѣдь, не такъ.

— Ну?—съ любопытствомъ спросилъ Юсъ.

— Ну, ясное дѣло: перемѣна въ людяхъ, по времени.

Сердце въ нихъ выросло, а они того сами не знаютъ: зачѣмъ чего хотятъ—не знаютъ. Они хотятъ-то, чтобъ всякое дѣло по-Божьему устроить, а сами думаютъ: это мы по-человѣческому, для человѣчества. Сердце у нихъ не въ работѣ, ну и пропадаетъ работа.

— Эхъ... завелъ,—разочарованно протянулъ Юсъ.—Къ чему это ты?

— А къ тому, что и ты, миленькій, хочешь по-Божьи, да слово тебѣ не привычно, говоришь: нѣтъ, я по-человѣческому, по-хорошему, какъ отцы, такъ и мы.

— Да вѣдь на одно же выходитъ?

— То-то, что не на одно. Коли сердцу тѣсно—удачи не жди. И не принижай ты человѣка. Человѣкъ всегда на полголовы себя самого выше. Забирай, забирай, какъ бы по-Божьи сдѣлать, не стыдись; тогда и по-человѣчески хорошо выйдетъ.

— Дѣло, въ облака лѣзть,—усмѣхнулся Юсъ.

Михаилъ сдвинулъ брови.

— Чего споришь? Онъ просто разсказываетъ. У него слова только другія, свои...

— А хочешь переведу?—крикнулъ Сергѣй Сергѣевичъ.— Думаешь, я твоихъ словъ не знаю? Вольнымъ переводомъ, а переведу. Программа максимумъ подгуляла у васъ, поизносилась, не грѣетъ, оттого и минимумы трещатъ. Соглашайся—не соглашайся, а понимай.

— Идеологіи у насъ нѣтъ...—тихо вставилъ Михаилъ.

Юсъ принужденно засмѣялся.

— Да ну васъ! Вонъ поѣздъ какой-то опять пришелъ. Не твой ли, старецъ Божій? И затѣяли, право! Иде-о-ло-гіи! Намъ думать, какъ съ вокзала на вокзалъ цѣлыми перепрыгнуть, а они объ идеологіи!

— Не мой ли, и то!—забезпокоился Сергѣй Сергѣевичъ.— Народъ повалилъ съ Иматры, должно, мой поѣздъ.

Стало шумно. Зазвенѣлъ звонокъ. Юсъ поднялся.

— Я погляжу. Кстати въ буфетѣ разсчитаюсь.

Михаилъ допилъ оставшееся вино. Измѣненнымъ взоромъ посмотрѣлъ на Сергѣя Сергѣевича.

— Скучно мнѣ, Сережа!—проговорилъ полуслышно.—Споримъ, бесѣдуемъ, вопросы рѣшаемъ, а вѣдь у каждаго и свое есть. У меня вотъ мать умираетъ. Давно, двѣ недѣли какъ получилъ письмо, что совсѣмъ умираетъ. Теперь умерла ужъ, да я рядъ, что не знаю. Не знаю, ну и думаю, какъ о живой. И Натуся, должно быть, не знаетъ; лучше это: вѣдь не поѣдешь, все равно. Маленькая такая старушка, мама-то, сухенькая; я ее, бывало, по комнатамъ на рукахъ носилъ. Только у нея двое насъ и есть. Умерла ужъ, вѣрно, да я не знаю.

Сергѣй Сергѣевичъ положилъ свою руку на руку Михаила.

— Другъ ты, хорошій мой. Думай, думай, какъ о живой. Не бойся, любовь-то всегда живая. Христосъ съ тобой.

Юсъ подошелъ поспѣшно.

— Есть. Какъ разъ твой поѣздъ.

Сергѣй Сергѣевичъ заторопился.

— Пойду, пойду. Пока толпа, оно лучше. Скажу тамъ, что надо. Помню все. Чего прощаться, теперь ужъ ясное дѣло—увидимся. Кончай послѣднее, Михаилъ, увидимся. И съ тобой не на вѣкъ, — обратился онъ къ Юсу. — Ты мои слова лихомъ не поминай, ты, небось, кое-что и самъ ужъ знаешь.

Схлынулъ народъ, ушелъ поѣздъ, увезъ Сергѣя Сергѣевича. Михаилъ досталъ письмо, опять, внимательнѣе, перечелъ его.

— Что?—спросилъ Юсъ.

Михаилъ сунулъ письмо въ карманъ и всталъ.

— Послѣ.

Они вышли на платформу, въ черную, какъ печная сажа, ночь. Ходили, ожидая своего поѣзда, вдалекѣ, гдѣ ужъ и деревянныхъ досокъ не было, гдѣ и слабые фонари не мерцали.

Юсъ, поеживаясь отъ сухого, терпкаго холода, все что-то ворчалъ, бормоталъ себѣ подъ носъ:

— Да, вонъ чего... И-де-ологія... Вонъ куда еще...

Михаилъ, впрочемъ, не вслушивался.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Красный Домикъ.

Дни ли осенніе, съ тяжелымъ, какъ сырой войлокъ, небомъ, близкая ли память о нежданномъ, досадномъ, длительномъ случаѣ съ крѣпостью, но только Юрію осточертѣлъ Петербургъ. Потерялъ онъ къ нему всякій вкусъ.

Съѣздилъ туда, сюда,—люди зеленые, вялые, злые, точно октябрьскія мухи линялыя. Тянетъ прочь, подальше, гдѣ воздухъ еще голубой. Можетъ, въ Италію проѣдется. Онъ Римъ очень любитъ. Но прежде всего, конечно, найти Наташу. А тамъ будетъ видно.

Забрелъ онъ какъ-то къ Лизочкѣ. Но на прежней квартирѣ ея нѣтъ, а разыскивать, разспрашивать—скука. Не стоитъ. Врядъ ли дядя Воронка ее бросилъ. Ну, тѣмъ лучше. Вотъ когда вернется Юрій въ Петербургъ, можно и разыскать, кто разыщется.

О Машкѣ вспомнилъ мелькомъ. Ну, и она разыщется со временемъ. Не наряжаться же теперь въ картузъ, не итти въ Казачій. Не до того, наскучило, послѣ.

Уѣхать — да; и вотъ еще мысль о послѣднемъ, предотъѣздномъ приключеніи, которое онъ себѣ выдумалъ, занимаетъ его. Стильно будетъ окончено его петербургское житье.

Да и надо сказать Михаилу точную правду о томъ, что было съ Юріемъ въ крѣпости, чего не было. Михаилъ, зная его, знаетъ, конечно, что Юрій на допросахъ не молчалъ, говорилъ ровно настолько, насколько было нужно, чтобы не повредить самому себѣ. Ничего не подѣлаешь. По счастливой случайности вышло такъ, что если и не избѣгъ Юрій кое-какого вреда другимъ, то развѣ очень незначительнаго. Хесю, напримѣръ, взяли не изъ-за него; пришлось говорить о ней, но послѣ, вдолгѣ, когда ей ужъ это было все равно. А о многихъ и совсѣмъ умолчать посчастливилось.

Конечно, Михаилъ слишкомъ уменъ, чтобы сплошь повѣрить всему, что Яковъ взвалилъ на Юрія. Но хотя бы Кнорръ несчастный... Его-то ужъ Яковъ, навѣрное, убѣдилъ, что Хеся погибла именно изъ-за Юрія.

Впрочемъ, Юрій безъ всякой злобы или негодованія думаетъ о Яковѣ, о томъ, что Яковъ оказался опредѣленнымъ „провокаторомъ“: скорѣе съ брезгливымъ удивленіемъ. Предательство, особенно систематическое, всегда казалось Юрію нерасчетливой и неумной вещью. Странно позаботился о себѣ этотъ хитрый дуракъ! На что надѣялся? Рано или поздно, не Юрій, такъ другой, но вывелъ бы его кто-нибудь на чистую воду. А послѣдствія не веселыя...

Въ общемъ же Юрію и поведеніе Якова, и самъ Яковъ, далекій и ничтожный, глубоко безразличны. Противно, конечно, что этотъ человѣкъ, ради своихъ какихъ-то цѣлей и выгодъ, заставилъ и его потерять нѣсколько мѣсяцевъ въ тюрьмѣ, тянуть допросную канитель и хоть слегка, но повредить другимъ... Не безъ удовольствія преподнесетъ Юрій Михаилу документикъ, который такъ счастливо попалъ ему въ руки. Они-то! Слѣпые, слѣпые! У Михаила чувства зрячія, да вѣдь ему, плѣннику бѣдному, со своими „личными чувствами“ не позволено считаться.

Ну, ладно, пусть слѣпенькіе теперь съ фактомъ сочтутся, коли не поздно.

Никто не долженъ знать о томъ, что писалъ Юрій Михаилу. Чортъ возьми, конспирація, такъ конспирація! И романтика, такъ романтика!

А Юрій назначилъ Михаилу свиданіе въ Красномъ Домикѣ.

Съ удовольствіемъ, тщательно, обдумалъ всѣ мелочи. И тогда написалъ письмо, которое черезъ незнающую Литту и вѣрнаго Сергѣя Сергѣевича попало наконецъ въ руки Михаила.

День отъѣзда за границу назначенъ. Пятница. За послѣднимъ обѣдомъ Литта, блѣдненькая, молча смотритъ на брата. Странный онъ, а добрый. Такая ясная у него красота.

Юрій веселъ, но не слишкомъ; графинѣ была бы непріятна излишняя веселость: вѣдь все-таки разлука. Но и самъ Юрій съ нѣжностью поглядываетъ на графиню: она щедро обезпечила его путешествіе, онъ доволенъ. Отъ темно-синей дорожной курточки, прекрасно сшитой, Юрій еще свѣжѣе и моложе: восемнадцать-девятнадцать лѣтъ. Ласково, чуть-чуть покровительственно, говоритъ онъ съ отцомъ. Николай Юрьевичъ не успѣлъ опять распуститься, держится, бодръ.

— Что ты, сестренка, печальная такая у меня?—говоритъ Юрій, наклоняясь къ сестрѣ. Они сидятъ рядомъ.

И продолжаетъ:

— Заучилась? Это хорошо, только если ужъ учиться будешь—лучше бы тебѣ въ заграничный университетъ какой-нибудь, а не здѣшней курсисткой дѣлаться.

— И поѣду,—говоритъ Литта, но такъ тихо, что ее слышитъ одинъ Юрій.

Графиня возражаетъ Юрію:

— Она будетъ на частныхъ курсахъ... Которыми нашъ

добрый Дидимъ Ивановичъ завѣдуетъ. Прекрасно ведутся, какъ говорятъ.

— А я слышалъ, что Саватовъ оставляетъ курсы. Хочетъ, будто, ѣхать за границу съ хроменькимъ племянникомъ, тамъ что-то такое затѣвать, неизвѣстно что.

— Молчи, Юрій,—шепчетъ опять Литта.

Графиня подняла брови.

— Вотъ какъ? Нѣтъ, куда же. Это у нихъ фантазія,— равнодушно заключаетъ она.

Однако время идетъ. Пора на вокзалъ. Съ Юріемъ только чемоданъ и сумка. Терпѣть не можетъ, чтобы его провожали на желѣзную дорогу, а потому торжественное прощаніе происходитъ тутъ же, въ большой гостиной. Всѣ присаживаются, молча. Первая встаетъ графиня, заключаетъ Юрія въ сильныя, сухія объятія, цѣлуетъ и даже креститъ какими-то маленькими незначительными крестами.

— До свиданія, Юрочка!—шепчетъ Литта, и печально падаетъ у нея сердце.

Въ передней выскочила откуда-то Гликерія и съ воплемъ припала къ рукѣ Юрія. Она цѣлый день нынче реветъ.

Юрій даже засмѣялся.

— Да что вы, Гликерія, Богъ съ вами! Не навѣкъ же вы меня провожаете! Полно!

За нимъ закрылась дверь—сразу все стихло.

Литта медленно идетъ по коридору къ себѣ.

„Вотъ и нѣтъ Юрія,—думаетъ слабыми, одѣтыми въ печаль, мыслями.—Нѣтъ, опять нѣтъ, точно и не было никогда. Былъ? Не былъ?..“

А Юрій мчится по чернымъ улицамъ, мимо фонарныхъ мокрыхъ бликовъ, на варшавскій вокзалъ. Передъ нимъ широкая темная спина Липата. „Хваленый“ крупно забираетъ ногами, подобрался за лѣто.

Дождя нѣтъ. Точно подсыхаетъ. Или подмораживаетъ.

Вотъ и мостъ на каналѣ, вотъ и высокіе часы... Вотъ за угломъ и темный проѣздъ.

— Ну, Липатъ, счастливо оставаться. Кланяйся всѣмъ, „Хваленаго“ береги.

Липатъ снимаетъ шапку.

— Дай вамъ Богъ, Юрій Николаевичъ. Много вами довольны. Ужъ будемъ стараться.

Юрій видитъ, какъ Липатъ поворачиваетъ жеребца. Скорѣй, скорѣй! Времени чуть не въ обрѣзъ. Чемоданъ отданъ на храненіе. Не сегодня Юрій выѣдетъ за границу, только завтра, въ десять часовъ утра.

А теперь—на другой конецъ города, на другой вокзалъ.

Какъ будетъ скорѣе? Извозчика взять? Или вскочить въ трамвай?

Черезъ полтора часа Юрій уже дремлетъ въ низенькомъ холодноватомъ и пустомъ вагонѣ финляндской дороги. Дремлется хорошо, пріятно. Сквозь дрему думаетъ, не словами, а такъ... представляетъ себя на пути къ милому старому Красному Домику. Идетъ пѣшкомъ. Дорогу не забылъ, отыщетъ, какъ бы темно ни было. Да и не хитрая дорога. Сторожъ жилъ вблизи только лѣтомъ, но и онъ, лѣтній, нынче въ августѣ умеръ. Второе крыльцо не заколочено,—на замкѣ и болтахъ. Предусмотрительный Юрій и о ключѣ позаботился. Незамѣтно, будто шаля со старой графининой связкой ключей, узналъ нужный и взялъ.

Какъ, однако, холодно! Чѣмъ дальше въ ночь, чѣмъ дальше отъ Петербурга, тѣмъ холодъ суше и острѣе.

Повозился-таки Юрій съ замкомъ и съ болтами. Ему ужъ не холодно,—жарко. Холодокъ только бодритъ. Славно было итти въ сухой чернотѣ отъ станціи. А здѣсь какая глушь, какая тишь и чернота! Юрію кажется, что сосны вокругъ выросли и сдвинулись, тѣснѣе стоятъ. Вѣрно, и днемъ не видно Краснаго Домика въ десяти шагахъ, развѣ

только башенка торчитъ надъ сѣрой, тяжкой зеленью угрюмыхъ деревьевъ.

Юрію положительно весело, забавно. Вспоминаетъ, какъ рисовалъ Литтѣ возможность свиданія: среди финскихъ снѣговъ онъ идетъ „закрывъ лицо плащомъ". Плаща нѣтъ, но зато есть Красный Домикъ, ужъ чего таинственнѣе! А что касается снѣга, то вотъ рѣдкія, сухія, первыя звѣздочки... Падаютъ на лицо и томно, нѣжно таютъ.

Въ сѣняхъ Юрій зажегъ свѣчку. Жаль, о фонарѣ не позаботился. Ну, ничего, и такъ ладно.

Свѣта въ нежиломъ домѣ никто не увидитъ: всѣ окна заколочены. Да и кому увидать, если бъ даже не заколочены? Кто пойдетъ сюда въ глухую осеннюю ночь? Красный Домикъ такъ стоитъ, что, быть можетъ, не только ночью, не только сегодня, но и совсѣмъ, до самой весны, никто не пройдетъ тутъ мимо.

Изъ сѣней, черезъ маленькую пустую „буфетную", Юрій прошелъ въ слѣдующую комнату, бывшую „нижнюю столовую". Тутъ и надо, по условію, основаться.

Однако и холодище же! Посмотрѣлъ на часы. Михаилъ придетъ минутъ или черезъ двадцать, или черезъ сорокъ. Смотря по тому, съ какимъ поѣздомъ пріѣдетъ. Надо спѣшить устроиться поуютнѣе.

Комната длинная, четыре окна слѣпо глядятъ внутрь: за стеклами бурыя доски. Голый столъ, рѣшетчатые ветхіе стулья. Противъ оконъ, въ углу, у самой двери—каминъ.

Хорошо бы его затопить. Вотъ и пригодился старый хламъ, который отсюда не вывезли. Легко сломалъ Юрій два стула, соломенныя рѣшетки занялись.

Теперь надо столъ ближе къ дверямъ—ближе къ огню. На столѣ—высокая свѣча въ бутылкѣ, вино,—красное, песклеванникъ и еще что-то въ бумагѣ.

Ужъ какое есть угощеніе: и его пришлось добывать по

дорогѣ на вокзалъ, а потомъ еще сюда тащить пять верстъ. Юрій стоялъ на колѣняхъ передъ каминомъ, когда въ сосѣдней комнатѣ скрипнула половица, и распахнулись двустворчатыя старыя двери изъ буфетной.

— Ты, Михаилъ?

Михаилъ вошелъ быстро, темный, кое-гдѣ напудренный первымъ снѣгомъ. Заговорилъ поспѣшно, прерывисто,— должно быть, очень торопился по дорогѣ:

— Уходи, Юрій. Сейчасъ же. Нельзя. Наше свиданіе извѣстно.

Юрій вскочилъ.

— Извѣстно? Фу, какая нелѣпость! Ну... ты-то уходи скорѣе.

— Нѣтъ, не то, что ты думаешь.

— Да въ чемъ дѣло? Кому извѣстно?

— Не разспрашивай, некогда, уходи. Есть другая дорога?

— Скажи въ двухъ словахъ. Вѣдь это же глупо! Чего ты боишься?

— Ничего, ничего... Я только хочу, чтобъ ты сейчасъ же ушелъ. Наше свиданіе извѣстно Кнорру...

— Какимъ образомъ?

— Я сегодня узналъ, что ему сказалъ Юсъ. Юсъ не виноватъ; вѣдь я говорилъ съ нимъ обо всемъ, и о томъ, какое опасное обвиненіе на тебя взводятъ, я ему даже намекалъ о... но пока только намеками. Юсъ долженъ былъ пріѣхать сюда вслѣдъ за мной. Я хотѣлъ...

— Что?

— Чтобы ты при немъ сказалъ все, точно, о себѣ... О крѣпости. Тебя тяжело обвиняютъ... Очень тяжело.

— Это неправда...

— Знаю, что неправда... И хотѣлъ я, чтобы при немъ же, при Юсѣ, ты сказалъ о Яковѣ.

— О Яковѣ? Да развѣ ты догадался, ктó онъ?

— Давно. Мнѣ не вѣрили. Не вѣрятъ.

— Не нужно ничьей вѣры,—холодно произнесъ Юрій и вынулъ изъ бокового кармана узко сложенную бумажку.— Возьми. Собственноручная. Очень радъ, что услужилъ.

Михаилъ взглянулъ, спряталъ записку, поблѣднѣлъ еще больше.

— Теперь уходи; уходи же! Пойми, Кнорръ знаетъ, что мы съ тобой сегодня здѣсь... А если Кнорръ... такъ и этотъ... Яковъ.

— Ладно, уйду. Ты успокойся, выпей вина, а я сейчасъ уйду. Вмѣстѣ бы ушли.

Юрій обогнулъ столъ и налилъ вина въ тонкій стаканчикъ.

Темное, тяжелое,—оно дрогнуло и перелилось багровыми слезами, когда упалъ на стекло каминный отсвѣтъ.

— Не буду пить, не надо,—нетерпѣливо сказалъ Михаилъ.—Ты не ребенокъ, ты долженъ понять, что нужно уйти. Яковъ способенъ рѣшительно на все, ему безмѣрно важно помѣшать тебѣ видѣться со мною. На все онъ способенъ. И у него такіе вѣрные помощники, какъ этотъ Кнорръ несчастный... Въ нервную больницу бы Кнорра, а онъ, чортъ знаетъ что, путается послѣдніе дни съ Яковомъ, спаиваетъ тотъ его... Безобразіе. Безуміе.

Юрій торопливо взялъ свое пальто со стула.

— Михаилъ, но если Яковъ подозрѣвалъ, что у меня была... та бумажка, то, вѣдь, понялъ же, что его дѣло у васъ все равно пропащее. Онъ будетъ дѣйствовать въ открытую. И въ этомъ случаѣ вѣрнѣе намъ убираться обоимъ.

Подумалъ мгновенье.

— Или не разумнѣе ли подождать? Скорѣе можно столкнуться по дорогѣ. Что же лѣзть на глупую случайность?

— Не знаю, не знаю... Нѣтъ, я почти увѣренъ, что Яковъ въ открытую не станетъ еще дѣйствовать. Юрій, не

надо намъ оставаться здѣсь вмѣстѣ. Яковъ одно знаетъ, что ты ему поперекъ дороги. Чортъ съ ними, кончено, уходи...

Они понизили голоса почти до шопота. Юрій, съ пальто въ рукахъ, оглянулся, ища свою шапку. Хотѣлъ что-то сказать, остановился. И вдругъ оба стали прислушиваться.

Но было тихо-тихо. Только неуловимымъ звономъ, какъ бы подземнымъ гуломъ чуть гудѣли сосны отъ тихаго вѣтра. А можетъ быть, и того не было. Можетъ быть, это звенѣла кровь въ ушахъ, отъ тишины.

Вдругъ Юрій досадливо тряхнулъ головой.

— Что-жъ, уходить такъ уходить,—произнесъ онъ громко.—Этакая нелѣпость! Весьма не романтично теперь удирать,—однако, въ угоду тебѣ... Дѣло мы одно сдѣлали...

— А другое оставь, самъ знаю.

— Мое? Да, Михаилъ, ты долженъ знать самъ, что я не молчалъ на допросахъ, но говорилъ настолько, насколько это было нужно—для меня. Къ счастью, нужны оказались пустяки. Хеся бѣдная...

Михаилъ почти не слушалъ, нетерпѣливый и взволнованный. Онъ стоялъ противъ Юрія, спиной къ камину. Сухія доски сгорѣли быстро и теперь, шурша, обваливались.

— Хеся умерла въ тюрьмѣ.

— Да, бѣдная... Облила себя керосиномъ и сгорѣла. И ламиъ-то, кажется, керосиновыхъ нигдѣ ужъ нѣтъ... Жаль.

— О ней ты говорилъ, Юрій? Кнорръ убѣжденъ, что ты...

— Ее не изъ-за меня арестовали, ты теперь знаешь. Пришлось говорить о ней, да; но это все послѣ... Ну, прощай, ладно. Уходилъ бы ты тоже...

— Уйду...—какъ-то глухо произнесъ Михаилъ.—Вотъ Юса только дождусь...

И прибавилъ:

— Прощай. Я уйду. Я ухожу... совсѣмъ. Куда ухожу, тамъ ужъ мы съ тобой, вѣрно, не встрѣтимся... И не надо.

Юрій точно понялъ скрытый смыслъ этихъ странныхъ словъ.

Улыбнулся, пожалъ плечами.

— Какъ знать? Со мной—вездѣ можно встрѣтиться. Я люблю всякіе пути, всѣ дороги. Столкнетъ еще судьба. Пока желаю тебѣ счастья... только врядъ ли ты будешь когда-нибудь счастливъ.

Придерживая одной рукой пальто, Юрій другую протянулъ черезъ столъ Михаилу.

— Юрій!

— Что? Да ухожу, ухожу! Поклонъ Юсу. И не бойся, я всѣ тропинки тутъ знаю. Ты-то не заблудись.

И, все еще улыбаясь чуть-чуть поблѣднѣвшими губами, онъ шагнулъ къ двери.

Но съ жидкимъ трескомъ она разломилась передъ нимъ надвое; черной пулей ворвалось, влетѣло что-то,—человѣкъ или звѣрь,—налетѣло, загрохотали, опрокидываясь, стулья, столъ подломился на слабыхъ ножкахъ и рухнулъ, зазвенѣла, разсыпаясь, посуда, свѣча погасла. Михаилъ упалъ навзничъ, головой къ догорѣвшему камину (только нитка красная тлѣла тамъ), упалъ,—и столъ на него, больно, краемъ.

А то, ворвавшееся пулей,—человѣкъ или звѣрь,—въ темнотѣ кричало, возилось, выло, не то рычало, не то бормотало, точно темнота сама рычала, сама разъяренная звѣриха, многолапая, многоротая, душитъ черной шерстью.

Михаилъ отбросилъ край тяжелаго стола, оперся на руку, обжегъ руку, потомъ обрѣзалъ руку, вскочилъ, опять упалъ, наконецъ, хватаясь за торчкомъ торчащую доску стола, поднялся. Должно быть, кричалъ, но самъ своего голоса не слышалъ.

Первая ясная мысль: огня! Да вѣдь у него фонарь,—тутъ, на каминѣ. Вотъ фонарь, цѣлъ. Сейчасъ, сейчасъ, только открыть боковую стѣнку...

Надежды, впрочемъ, не было. Не зналъ, что случилось, но зналъ, что непоправимое.

Узкій красноватый лучъ потянулся отъ камина внизъ. Михаилъ шагнулъ впередъ, за доску стола.

— Юрій, Юрій! Боже мой, воды!

На ногахъ у Юрія, скорчившись, какъ маленькая темная обезьяна, сидитъ Кнорръ. Еще подвываетъ обезьяна, еще бормочетъ, но уже ослабѣла. Вертитъ безумными, пустыми глазами, странно трясетъ пальцами.

— Я рѣшительно... ничего не могъ подѣлать съ нимъ,— говоритъ скрипучій голосъ около Михаила.—Онъ въ такомъ состояніи...

Подсунувъ руку подъ плечи Юрія, Михаилъ пытается его поднять.

— Воды, воды!

И вдругъ, по тяжести тѣла, по спокойствію лица въ лучѣ свѣта—понялъ, что Юрій уже умеръ. Безъ слова, безъ стона, вѣроятно безъ борьбы—умеръ.

— Право же, я не могъ... удержать его, Михаилъ,—скрипитъ опять Яковъ, и зеленая маска его дергается, собирается въ морщины.—Мы остановились, слушали. Вѣдь этотъ признался тебѣ про Хесю... ну и не было никакихъ силъ сладить...

Пониже лѣваго плеча, на синей дорожной курточкѣ Юрія, торчитъ темная рукоятка финскаго ножа. Ослабѣвшая обезьяна тянется къ ней скрученными пальцами. Выдернуть хочетъ? Испугалась? Но нѣтъ силы.

И нѣтъ времени. Михаилъ цѣпко схватился за трясущіяся руки и откинулъ Кнорра далеко къ стѣнѣ. Отлетѣлъ, грузно шлепнулся на полъ и сидитъ тамъ, распяливъ ноги, глядитъ бѣлыми глазами, бормочетъ свое.

Передъ Михаиломъ, на порогѣ раскрытой въ темноту двери,—Юсъ. Онъ только что пришелъ, стоитъ, длинный сутулый, весь въ снѣгу.

— Это что?

— Юсъ. Убили. Яковъ опоилъ Кнорра и толкнулъ его съ ножомъ изъ-за угла. Разсчиталъ, что время. Что убитый не успѣлъ... Онъ успѣлъ. Юсъ. Яковъ—предатель. Доказательство у меня.

Яковъ кошачьимъ движеніемъ сунулъ руку въ карманъ. Но Юсъ грубо и быстро кинулся на него, схватилъ за горло и перегнулъ, какъ слабую трость, назадъ.

— Убійцы...—хрипѣлъ Яковъ.—Бейте, бейте, с... дѣти.

— Юсъ, прочь! Это не наше дѣло!

— Бейте.. бейте...

— Бей предателя!—мелькнули вдругъ ясныя слова въ сплошномъ, звѣриномъ бормотаньѣ Кнорра.

Онъ глядѣлъ безъ мысли, сидѣлъ на полу, качался. Безумно облизывалъ чѣмъ-то запачканные пальцы. Чѣмъ? Виномъ пролитымъ? Не виномъ?

Михаилу удалось оторвать руку Юса.

— Прочь, я тебѣ говорю!

Яковъ, съ омертвѣвшимъ лицомъ стоялъ, опершись о стѣну.

— Юсъ, ты не смѣешь, я тебѣ приказываю его оставить!

— Чего оставить? Какъ это оставить?

— Скрути ему руки назадъ. Слышишь? Юсъ, я не хочу, я не позволю!

Юсъ, тяжело дыша, повиновался.

— Крути, крути крѣпче... Вотъ ремень. Больше ничего нельзя, нельзя, довольно! Пусть о немъ другіе позаботятся, не мы. Не марайся теперь объ этого... Нельзя. Ну, скорѣе! Пора итти. Вмѣстѣ уйдемъ.

— Да вы что это?—вдругъ плаксиво застоналъ Яковъ.— На смерть меня тутъ бросаете? Голубчики...

— Смерть, смерть предателю!—опять явственно и монотонно выкрикнулъ Кнорръ, лижа безумно мокрые пальцы.

— Пожалуй, опомятуется этотъ къ утру, развяжетъ... Эхъ!—бормоталъ Юсъ, туго крутя ромни.—Чѣмъ онъ, дьяволъ, такъ опоилъ его?

Михаилъ, съ фонаремъ въ рукѣ, наклонился къ тѣлу Юрія.

Какъ поблѣднѣвшее лицо просто. Мертвое,—оно точно и не было никогда живымъ. Мертвая красота. Глаза полузакрыты. Михаилъ смотритъ, смотритъ—и въ мертвыхъ чертахъ боится узнать черты другія, милыя, близкія, навѣки ему дорогія... Братъ! Вотъ оно, непоправимое!

Непоправимое? Или только незабвенное? Или... должно было этому быть?

— Готово! Идемъ, что ли?

Подойдя, остановился и Юсъ около тѣла. Посмотрѣлъ.

— Экій... случай какой несчастный...

И снялъ шапку.

Михаилъ поднялся. Переступилъ черезъ длинныя темныя лужи на полу,—что это? вино пролитое? или не вино?—и оба они съ Юсомъ пошли, не оглядываясь, вонъ.

Красноватый лучъ свѣта прыгнулъ на стѣну, соскочилъ, побѣжалъ впередъ. И сникъ совсѣмъ.

Въ темнотѣ остались трое: мертвый, безумный и связанный.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Черепки.

Тихій мартъ.

Даже не мартъ еще,—конецъ февраля, но воздухъ мартовскій, свѣты мартовскіе, небо мартовское, да и земля: кое-гдѣ лишь по равнинѣ, у низкихъ холмовъ, бѣлѣютъ пятна снѣга. Зима была не суровая, и рано зажглись небеса обѣщаніемъ весны.

По равнинѣ размашисто круглится желѣзнодорожный

путь. Далеко-далеко сверкаютъ рельсы, тонутъ въ рѣдкихъ сосновыхъ перелѣсочкахъ. Вотъ сбоку тоже небольшая кучка такихъ корявыхъ сосенокъ. Около нея, безъ ограды,—сѣрая бревенчатая церковь. Просто срубъ, и бревна потемнѣвшія тонки, и стоитъ срубъ высоко, на четырехъ подставахъ, внизу пустота. Странная церковь,—ни дать, ни взять сказочная избушка на курьихъ ножкахъ.

Въ этой сѣрой церкви, въ это радостное утро отпѣваютъ Машкинаго ребеночка.

Маша стоитъ у маленькаго дощатаго гроба, прислушивается къ неизвѣстнымъ и невнятнымъ возгласамъ торопливаго попа въ короткой обшмыганной рясѣ. Дьячокъ частитъ-частитъ—и опять попъ. Не плачетъ Маша, только вздыхаетъ да утираетъ лицо платкомъ. Наплакалась вволю вчера съ вечера, какъ пріѣхала, да нынче, обряжая въ гробикъ младенца.

Сторожиха-кормилка говоритъ — въ два дня свернуло. Ужъ она и къ доктору его, ужъ она и то, и се... Сама очень жалѣетъ. Стоитъ теперь тутъ же, около Машки, въ ковровомъ платкѣ, и дѣвчонку свою взяла. Машка на сторожиху не сѣтуетъ; что жъ, видно ужъ судьба.

Егорушка желтенькій, рѣсницы склеились, а все-таки хорошенькій. Маленькій-маленькій, носикъ тонкій, изъ-подъ чепчика на лобъ падаетъ вьющаяся свѣтлая прядь.

„Мальчикъ-то какой... Кудрявенькій... Илюшечка...“, думаетъ Маша тупо тѣми же словами, какъ всегда о немъ думала. Когда крестили, все хотѣла сказать батюшкѣ, чтобъ Ильей назвалъ, а батюшка далъ имя Георгія. Вышелъ Егорушка, но для Маши онъ въ мысляхъ—Илюша.

Читаетъ нараспѣвъ священникъ, частитъ дьячокъ, сторожиха сморкается, а Машкины мысли все ползаютъ около ея „мальчика кудрявенькаго“. Вотъ закопаютъ его сейчасъ, и не будетъ... Ничего не будетъ, какъ не было ничего.

Родился онъ послѣ новаго года. Машка ужъ не на старомъ мѣстѣ жила: тамъ—съѣла Степанида. Новые господа попались ничего. Барыня Машку замѣтила, разспросила мелькомъ, и говоритъ: ну, мы теперь уѣзжаемъ, тебя не гнать же, оставайся при квартирѣ съ кухаркой, а пріѣдемъ—ты ужъ тутъ справишься.

И уѣхали. Машка стала жить. О воспитательномъ узнавала. Жить было ничего. На дворѣ только срамили, а то ничего, и кухарка женщина добрая, самой доводилось.

За послѣднее время, передъ родами, Машка совсѣмъ объ Ильѣ не стала вспоминать; сгинулъ—и сгинулъ; сквозь землю точно провалился; точно онъ ей во снѣ привидѣлся; одна смутная память о немъ, какой онъ. По осени, когда она еще на старомъ мѣстѣ жила,—еще скучала, хоть не признавалась. По осени вышелъ разъ такой случай.

Шла Машка въ сумерки по Загородному, съ Анютой изъ двадцать четвертаго. И видитъ—стоятъ у самой панели санки (только первый снѣгъ выпалъ), а въ санкахъ—Илья.

Онъ. Сѣрая мерлушковая шапка на лобъ надвинута, его глаза веселые.

Машка и себя не помнитъ, кинулась къ санямъ.

— Илюша, Илюшенька!

Онъ глядитъ на нее, молчитъ, а Машку Анюта за платье давай дергать.

— Какой тебѣ Илюша? Чего ты? Развѣ не видишь, это барышня!

Совсѣмъ у Машки въ глазахъ помутилось. Вотъ такъ Илюша. Дворники у воротъ смѣются. Заревѣла Машка отъ стыда и отъ страху.

А барышня къ ней изъ санокъ наклоняется, разспрашиваетъ, ничего понять не можетъ. Тутъ бы имъ уйти, да Машка вцѣпилась въ барышню и, плача, толкуетъ про

Илюшу. Кучеръ дворниковъ кликнулъ: не пьяная ли? Но барышня вынула изъ кармана книжечку, написала, оторвала листокъ и даетъ Машкѣ:

— Вотъ, милая, вы по этому адресу придите ко мнѣ, тамъ и разскажете, на какого я Илюшу похожа. Все мнѣ тогда разскажете. Да не плачьте.

Вышла изъ магазина дама, сѣла къ барышнѣ въ санки, — укатили.

Адресъ у Машки остался. Но обдумалась Машка. И заробѣла. Чего къ чужой барышнѣ итти? Какой тамъ Илюша? Помстилось ей въ сумеркахъ. Такъ и не пошла тогда.

Пока не родила—думала про воспитательный, какъ всѣ думаютъ; куда же еще? А подали ей тоненькаго, бѣленькаго, кудрявенькаго, взялъ онъ грудь, поглядѣлъ темными глазами,—Машка обомлѣла. Какъ она такого мальчика хорошенькаго, кудрявенькаго—въ воспитательный?

Взяла да и привезла на квартиру. Лукерья-кухарка разахалась.

— Ты, дѣвка, ополоумѣла. Развѣ мы смѣемъ? Господа пріѣдутъ,—на улицу, что ли, съ нимъ пойдешь?

— Да мальчикъ-то, гляди, какой хорошенькій, Лукерьюшка! Лучше же его, коли такъ, на вольное воспитаніе отдать. Илюшечка мой!

— Развѣ что,—соглашается Лукерья.—Есть у меня женщина... По балтійской дорогѣ сторожева жена. Беретъ.

Двѣ недѣли кормила Маша младенчика. Пріѣхали господа. Удивились. Барыня похвалила ребенка, узнала, что Георгій—Юрочкой назвала, а потомъ говоритъ:

— Ну, Маша, я тебя вполнѣ понимаю, однако натѣшилась, двѣ недѣли кормила, пора и честь знать. Къ Лукерьиной знакомой отдаешь? Завтра же и вези.

Такъ и свезла Маша Егорушку къ сторожихѣ. Барыня добрая, на первый мѣсяцъ деньги дала, а тамъ будь что будетъ.

Христомъ Богомъ заклинала Машка сторожиху беречь кудрявенькаго, рожокъ мыть, черной соски не давать. Пососалъ напослѣдяхъ въ сторожкѣ материнскую грудь Егорушка, и Маша уѣхала.

Тутъ ужъ она затосковала. И о комъ тоска—не понять. О Егорушкѣ ли, объ Илюшенькѣ ли... Мѣста не найти. Вспомнилась та барышня. Хоть разскажу ей. Взяла да и пошла искать барышню.

Домъ богатый. Не опомнилась Машка, а ужъ ея адресокъ швейцаръ на подъѣздѣ читаетъ.

— Барышню видѣть невозможно, а ея сіятельство нынче просительницъ не принимаютъ.

— Я къ барышнѣ...—робѣетъ Машка.—Онѣ мнѣ сами вотъ написали.

— Когда это написали? Русскимъ языкомъ говорятъ—невозможно ихъ видѣть. За границу онѣ уѣхали, ужъ мѣсяца три.

— Уѣхачи?—шепчетъ Машка.—Не здѣшняя, значитъ, барышня-то?

Швейцаръ разсердился.

— Да что ты, голубушка? Чего тебѣ надо? Сама не знаешь, кого спрашиваешь. Коли написано Юлитта Николаевна, такъ это будетъ внучка ея сіятельства, а ты—не здѣшняя!

— Илья тутъ у васъ не служилъ ли?—совсѣмъ безсмысленно спрашиваетъ Машка, и сама чувствуетъ, что никакого отвѣта не получитъ, что надо поскорѣе уйти, пока швейцаръ не толкнулъ ее на панель.

Ушла. И чего ходила?

Сторожиха рѣдко письма присылаетъ. Стала Маша привыкать, забывать немножко. Вдругъ письмо: „пріѣзжайте, мать, Егорушка плохъ, не померъ бы“. Въ тотъ же вечеръ

пріѣхала Маша въ сторожку, а онъ ужъ давно кончился, хоронить ждуть.

„Вотъ и похоронимъ“, думаетъ она тупо, слушаетъ непонятныя слова и глядитъ на огонекъ тоненькой свѣчки. Въ солнечномъ лучѣ, что косо и дымно тянется изъ окна церкви, огонекъ—словно прозрачно-желтая мушка вьется надъ воскомъ. Желтѣе огня и воска Егорушка въ гробу. А волоски золотятся, какъ живые.

„Можетъ, несчастненькій былъ бы...“, хочетъ утѣшить себя Машка, вспоминая сторожихины слова. Но не утѣшаютъ они, не вѣрится имъ. Счастливый. Въ сорочкѣ вѣдь родился. И вонъ, кудрявчикъ. Кудрявые—счастливые. Какъ же такъ—померъ?

Отпѣли. И не взвидѣлась Машка—гробикъ заколоченъ, взялъ его дьячокъ и понесъ изъ церкви. Внизъ по шаткой лѣсенкѣ, по солнцу, туда, гдѣ межъ корявыхъ, низкорослыхъ сосенъ частые кресты.

И скоро какъ все обернулось. Вотъ ужъ закопали, вотъ батюшка съ дьячкомъ ушли, мужикъ ушелъ, что рылъ могилку, остался только маленькій сырой горбикъ, да Машка надъ нимъ, да сторожиха въ ковровомъ платкѣ,—дѣвчонку свою за руку держитъ.

— Полно-ка, милая, не убивайся. Упокоилъ Господь младенческую душеньку идѣ же праведные... Поклонись-ка, землицы возьми на память съ могилки, да и пойдемъ. Чайкомъ попою, помянемъ младенчика...

Рядомъ со свѣжимъ сырымъ горбикомъ—другіе горбики, большіе и малые, тѣсно-тѣсно; желтая, мертвая трава на нихъ, а между, по мѣстамъ, снѣжокъ бѣлѣется. И еще что-то все бѣлѣется середь темныхъ комковъ земли.

— Это что же такое, тетенька?—говоритъ Машка, приглядываясь.—Словно костки...

— Черепочки это, милая, черепочки... Что подѣлаешь,

такое ужъ у насъ кладбище. Мелко роемъ, потому нельзя, вода. А мелко роемъ,— вёснами и размываетъ могилки, которыя постарше. Старое вѣдь у насъ кладбище, бѣда старое.

Она наклонилась и подняла маленькую круглую чашу, такую чистенькую, такую бѣлую на ласковомъ солнцѣ.

— Вотъ черепокъ-то, вымыло его; тоже, видно, младенчикъ былъ... Этого у насъ много. Лѣтось барышня одна, дачница, увидѣла это и забрала; возьму, говоритъ, на письменный столъ къ себѣ положу. А потомъ невдолгѣ гляжу я— обратно несетъ. Нѣтъ, молъ, имъ у меня, должно быть, безъ спокою: снятся мнѣ. Лучше ихъ землѣ отдать, землей покрыть. И зарыла. Что жъ подѣлаешь.

Машка стала накапывать себѣ съ могилки земли, да повалилась лицомъ внизъ и завыла.

— Илюшенька! Егорушка! Кудрявенькій мой. И на кого вы меня, безталанную... На кого вы меня... Да на кого вы меня...

Голубая круглая чаша вверху такая чистая, такая ласковая. Обѣщаніе весны такое вѣрное. Близокъ юный мартъ.

Сторожиха тянетъ за кофту, съ добротой уговариваетъ:

— Полно-ка, молодушка, встань, встань. Грѣхъ такъ убиваться по младенчику.

Встала Машка, всхлипываетъ.

— Что жъ это... Илюшечка... Кудрявенькій. Черепочки теперь... Куда теперь?

А сторожиха все тянетъ за рукавъ.

— Пойдемъ, милая, пойдемъ. Землицы-то взяла? Христосъ съ нимъ. Пойдемъ, чайку попьемъ, вспомянемъ... Пойдемъ-ка скорѣе.

Голубая круглая чаша надъ ними, надъ свѣтлымъ кладбищемъ, надъ сѣрой церковью бревенчатой,— голубая чаша такая чистая, такая ласковая. Обѣщаніе весны такое вѣрное.

Близокъ юный мартъ.
